

Антонелла Чиленто

НЕАПОЛЬ

ЧУДНЫЙ МОЙ





Annotation

Антонелла Чиленто родилась и выросла в Неаполе. Образ легендарного города создан ее воспоминаниями и существенно отличается от картинок в туристических буклетах. Чиленто пишет о том, как живет этот странный город, где рядом с солнечными площадями и шумными пляжами путешественник обнаружит сырые подземелья древних замков и мрачные старые кладбища. Здесь у самых границ города из земли вырываются струи серного пара и бурлят горячие источники, а неподалеку находится пещера знаменитой прорицательницы Сивиллы. Может, поездка в Неаполь способна изменить судьбу?

Перевод: Евгения Меникова

- [Антонелла Чиленто](#)
 - [1 Мореблис](#)

Антонелла Чиленто

Неаполь чудный мой

– Все тщетно, если так или иначе мы попадаем в город-ад, куда нас все сильнее затягивает, как в водоворот.

Поло: – Для живущих ныне ад – не будущность, ежели он существует, это то, что мы имеем здесь и теперь, то, где мы живем изо дня в день, то, что все вместе образуем. Есть два способа от этого не страдать. Первый легко удаётся многим: смириться с адом, приобщиться к нему настолько, чтоб его не замечать. Второй, рискованный и требующий постоянного внимания и осмысления: безошибочно распознавать в аду тех и то, что не имеет к аду отношения, и делать все, чтобы не-ада в аду было больше и продлился он подольше.

Итало

Кальвино.

Невидимые города

[1]

1 Мореблис

В детстве мы с моей сестрой Иолой часто напевали знаменитую песню “Санта-Лючия” вместе с музыкальной темой из почти столь же знаменитого мультика “Капитан Харлок”: “Капитан Харлок зум-зум, капитан Харлок зум-зум”, а потом, словно эхо: “Харлок... Харлок...”

Сохранилась старая аудиокассета с этим мотивом, исполненным на два голоса – первая в нашей жизни запись: слышно, как мы обе поем, а потом Иола говорит мне раздраженно: “Не так! Неправильно!” “Санта-Лючия” у нас тоже выходила неправильно, и получалось что-то в таком роде:

*Лунным сиянием
Мореблис тает.
Попутный ветер
Парузды мает.
Лодка моя легка,
Весла большие...
Саантаа-Лючия, Сантааааа-
Лючия!*

Мореблис, вместе с названиями некоторых экзотических насекомых и с мангровыми зарослями из комиксов про мистера Нет, был одной из тайн нашего детства. На самом деле не было никакого Мореблиса, просто мы неправильно расслышали словосочетание “море блистает”, на деле же слова песни звучат так: “Лунным сиянием море блистает”. И в следующей строфе речь идет вовсе не о “паруздах”, а о том, что ветер “вздымает парус”. Но ведь мы пели эту песню на слух, повторяя за отцом, и во мне поселилась уверенность, сохранявшаяся долгие годы – даже в том возрасте, когда иные ошибки уже непозволительны, – что в песне “Санта-Лючия” рассказывается о Мореблисе.

Мореблис был чем-то вроде тех молочных зубов, которые у иных не выпадают даже в старости. Он воплощал наше личное видение переменчивого моря и морского пейзажа – так что же, собственно, такое Мореблис? Утес в окрестностях Капри? Скала? Особый вид рыбы с изысканным вкусом – вроде триглы, название которой тоже в определенной степени представляло для нас тайну [2] . Что это? Глиняная рыбка?

Мореблис, особенно тогда, когда мы пели “Санта-Лючию” во весь голос в машине, казался нам загадочным городом, въезд в который разрешен только нам. В этом мы отчасти уподоблялись

жене Иоахима Мюрата [3] , которая так страстно влюбилась в Неаполь, что стала именоваться герцогиней Липона, то есть титулом, представляющим собой анаграмму названия “Наполи” [4] . Вот и мы с сестрой – в духе фантазий Родари – были пусть не герцогинями, но обительницами невидимого города Мороблис, возникшего из лингвистической ошибки.

Не потому ли у меня навсегда осталось ощущение, будто я принадлежу месту, в названии которого делаю ошибку, что я невнимательна к городу, в котором живу, хотя каждый день смотрю на него и часто рассказываю о нем в своих статьях и книгах.

Короче говоря, нет более трудной задачи, чем воссоздать хранящийся у нас в душе образ Неаполя, созданный нашими воспоминаниями и воображением. Мешает близость рассматриваемого, из-за нее картина выходит нечеткой.

В город можно попасть по морю или по небу, по земле и даже подземными путями, но, оказавшись там, вы словно попадаете в плен. Неаполь – призма, в которой его образы видятся увеличенными.

Проникнуть в город дано не всем, и древние хорошо это знали: Неаполь не из тех городов, что открываются каждому.

Если какое-нибудь место пугает нас, можно войти туда шутя, оставив тоску, страх и предрассудки у порога.

Или произнеся волшебные, лишённые смысла слова.

Мороблис!

Тогда, вероятно, все пройдет хорошо.

* * *

Начнем с моего дома.

Я живу на одном из городских холмов.

Если смотреть на Неаполь с высоты или с моря, кажется, что у него два плеча, Вомеро и Позиллипо, задняя часть, или спина, Фуригротта, и передняя – та, что выходит к морю и над которой возвышается Везувий. Многочисленные кварталы этой части образуют своего рода внутренности города; говорят, их надо бояться – впрочем, нам ведь страшен вид собственного кишечника. Так что Неаполь – довольно странное существо; пожалуй, он похож на какой-то примитивный морской организм, состоящий из рта, щупалец и выделительного органа.

Если смотреть на него с окраины или из какого-нибудь мрачного закоулка, он может показаться уродливым и бесформенным, но следует помнить, что этот город – живой

организм и он может быть соблазнительным: длинные волосы спускаются с вулкана на плечи и на груди, робко выступающие из воды.

Итак, Неаполь – это город-женщина. При этом кое-кто утверждает, что у Неаполя, как и у женщин, нет головы; кроме того, в природе возможно выживание и без головы: достаточно нервного центра, причем у иных видов он расположен в непосредственной близости от потрохов. Но это все – болтовня злопыхателей.

* * *

Когда я ночью иду по улице Орацио, Неаполь томной красавицей лежит на боку. У нее коралловые браслеты (это автомобильные стоп-сигналы на дорогах), торчащие вверх черные волосы (телевизионные антенны), белоснежные зубы и темные осьминожки гениталии, а глаз она, по счастью, не открывает, иначе они пылали бы раскаленными углями. Это Кали многорукая и многогрудая. Прекрасная богиня, убивающая в танце под звуки тамморры [5] . Это сирена, чье пение, сочетающее древнегреческие мотивы с неаполитанской неомелодикой, несет смерть, она очень похожа на Лигию, на пустынном берегу говорившую с профессором-сицилийцем на ионийском диалекте, но только она – простолюдинка.

Но эта метаморфоза стремительна и мимолетна, и вот город уже возвращается к тому образу, что запечатлен на блеклой, но милой открытке с испорченным необузданным и незаконным строительством видом на залив. А порой приобретает облик японца – зимний Неаполь, с белой шапкой снега на вулкане и нефтеналивными танкерами вдали, напоминающими мару из книг Мисимы [6] .

Или становится пустынным летним Неаполем, разнузданным и грязным, который жители больше не берегут и не почитают, потому что они – его заключенные.

* * *

Неаполитанцам не дано увидеть свой город весь, целиком: это зрелище ослепило бы их. Они не способны представить себе один-единственный Неаполь, как наше сознание не способно вообразить Вселенную в целом. И действительно, неаполитанцы почти не покидают своего квартала, для них существуют рубежи,

которых они никогда не переступают.

Встречаются среди них и такие, что не знают даже топонимов презируемого ими города.

В Неаполе детали имеют больше значения, чем целое.

Например, перед постом консьержа в моем доме под цветочной клумбой, хрупким ограждением возвышающейся над грудой мусора, которая ежедневно образуется на тротуаре, ведущем к автобусной остановке, есть выступ из белого мрамора – бог знает, что за рассеянный архитектор его там поместил.

Плентус делится на шесть или семь ступенек, которые по размеру годятся для туфелек Барби, – они сглаживают разницу уровня между клумбой и собственно мостовой. Шли годы, мрамор под клумбой чистили, а потом он снова зарастал грязью, вход во двор перегородили двумя рельефными столбами, чтобы внутри не ставили мотоциклы, а за растениями ухаживали, и теперь флора там весьма разнообразная. Особенно благоденствует таинственное растение, цветущее красными цветами, похожими на ершики для чистки бутылок. В общем, все поменялось, но маленькие ступеньки по-прежнему остаются на своем месте.

В детстве у меня были малюсенькие ножки – впрочем, невелики они и сейчас: я ношу тридцать шестой размер при росте метр семьдесят, и мои массажистки постоянно восклицают:

– Как тебе вообще удается держаться на ногах? За такие ноги полагается награда!

Так вот, в детстве я прыгала, пытаюсь попасть ногами точно на эти таинственные ступеньки.

Но и тогда они были мне малы: их построили для неведомых созданий, которые поднимались по ним, пока я не видела, пока никто из жильцов не видел.

Быть может, эти белые-белые ступени предназначались для черных-черных тараканов, на которых сетовали мои родители: по вечерам они черной массой поджидали входящих в дом – пережиток того времени, когда наш район был деревней.

Или для мышей – отпечатки их лапок еще можно было разглядеть на улице. А быть может, для ящериц: они якобы иной раз появлялись даже у нас на шестом этаже, на кухне под вентиляционной трубой – интересно, падали с неба, с балкона или же поднимались к нам по тем самым нескольким белоснежным и бессмысленным ступенькам?

* * *

Именно тогда я впервые обратила внимание и поразились

тому, сколько бессмыслицы в архитектуре моего города, в том числе поздней – взять, к примеру, мой квартал.

Неаполитанские дома похожи на зубы старухи – одни кривые, иные выпали, иные стоят по нескольку штук близко друг к другу, кое-где вместо выпавших вставлены искусственные. Еще их можно сравнить со сложным механизмом средневековых часов, со всеми этими осями и шестернями, переходящими одна в другую, сбивающими с толку, – с большими часами, которые идут неправильно и показывают время сразу нескольких эпох, слившееся воедино, – они живут, словно огромное барочное сооружение, но это барокко фантастическое, как в “Тюрьмах” Пиранези.

Много лет я пыталась понять, зачем наряду с небоскребами и цветными средиземноморскими фасадами, которые мы предъявляем туристам, в моем городе существуют маленькие, никуда не ведущие лестницы, слепые окошки, глухие улочки, всевозможные архитектурные наросты, громоздящиеся там и сям, подобно диким, экзотическим цветам.

Здесь нет точности, отсутствует расчет, который служил бы основой. Или, возможно, от нас ускользают те анатомические алгоритмы, какими пользовался неведомый зодчий, сотворивший Неаполь. Ведь с нами, его жителями, обитающими внутри всего этого, происходит та же история, что и у человека в отношении собственного тела: в действительности мы очень мало о нем знаем, хотя изучаем медицину, хотя пребываем в уверенности, будто поняли его механизмы и процессы, и считаем, что оно уже не преподнесет нам сюрпризов.

Воплощение этого таинственного градостроительного проекта можно видеть с вершины холма Вомеро, с площади монастыря Сан-Мартино, откуда открывается панорама города, обдуваемого ветрами. Исключение составляет лишь наследие дотошных римлян, прокладывавших прямые карды и декуманы [7], следы которых хранят в себе улицы Спакканаполи и Трибунали, а в остальном городу несвойственны традиционные геометрические структуры.

Они не отличают ни улицу Толедо, проложенную испанцами, ни Реттифило, которую “рисанаменто” [8], последовавшее за объединением Италии, прочертило на теле города, словно длинную рану.

Поскольку Неаполь представляет собой некое тело, он страдает от хирургических вмешательств рационалистов, от врачебного насилия и в ответ на них нестройно бурлит и клокочет, словно джунгли, которые – вырубай их, не рубяй – все равно растут по-своему.

И когда смотришь на Неаполь сегодняшний, видишь эту плотную мешанину исторических слоев, предметов и людей, что выросла, словно муравейник, вокруг упорядоченного римского каструма, то вдруг осознаешь, что даже контуры античного города уже почти стерлись, но даже и они не были правильными, такими, как в Турине, Аосте, Риме.

Из-за постоянных оползней неаполитанские декуманы утратили геометрическую правильность и больше напоминают бельевую веревку, перегруженную развешенным на ней бельем.

Голова Неаполя – у него в брюхе.

* * *

Город, нынешний город, если смотреть на него изнутри, – это неупорядоченное, хаотичное образование, и пусть ученые и археологи выделяют в нем слои, относящиеся к конкретным периодам, памятники, фрагменты, обломки различных эпох в нем перемешаны. Если сюрпризы, преподносимые родным городом, удивляли меня уже в детстве, то теперь я поражаюсь еще сильнее: ведь даже здания административного центра в японском стиле не соответствуют никаким критериям.

Повсюду в Неаполе – террасы, нарушающие единство, фасады, балконы, переделанные окна и подъезды, изменившие стиль и цвет домов и старинных особняков. Бетонные небоскребы тоже украшены всевозможными “наростами”. Даже “паруса” Секондильяно [9] – и те претерпели существенную реконструкцию. Бумажные небоскребы Монтерушелло были разрушены и переделаны жителями, сыгравшими роль вирусов или паразитов в организме нашего города.

Неаполь изображали полузверем-получеловеком с раздвоенным хвостом – божественным воплощением ужаса перед всепоглощающим морем. Так стоит ли удивляться тому, что существуют лестницы для тараканов, слуховые окошки для голубей, галереи, в которых не живет никто, кроме чаек.

В Неаполе есть деревья, выросшие внутри домов.

На улице Позиллипо сосна вылезает из подъезда дома, почти перекрывая вход, корни ее находятся в самом доме, а крона несколько смещена, так что перед балконом остается свободное пространство. На улице Сальватора Розы мраморные овалы и гранитные лозы, украшающие патрицианскую виллу, теряются на фоне новой станции метро, построенной в стиле Гауди, среди домов, отделанных плиткой, и телевизионных параболических антенн, а эскалаторы тем временем вгрызаются в бетонную броню

квартала. По старинным ступеням, широким и низким, созданным для неторопливого восхождения вместе с домашними животными, теперь съезжают на мопедах.

* * *

Так возможно ли рассказывать по порядку об этом загадочном создании, о перемежающихся шумах в его сердце, о патологиях, порождающих новые жизненные системы подобно раковым клеткам, которые образуют в организме новый организм, прежде чем прикончить больного?

Неаполь – город, где почти ничего не умирает, а все новое вырастает в теле старого. Он бессмертен, несмотря на то что за долгие годы и века собрал в себе множество болезней. Как выглядел бы человек, продолжающий жить, несмотря на тысячи болезней, сквозь бег времени? Он стал бы неузнаваемым, превратился бы в чудовище, в фантастическое существо. А можно ли жить внутри фантастического существа, пережившего себе подобных?

Античные остовы итальянских городов – это зачастую мумифицированные тела, чья первоначальная красота сохраняется лишь благодаря тщательному уходу за трупом, – остекленевшие, сказочные создания. Спящие красавицы Сиена, Флоренция, Венеция, некоторые районы Рима, – у того хотя бы есть горизонтальное пространство, на котором он может расти вширь, вытягиваясь и рождая новые, многоликие города с тем же именем.

А Неаполь растет на себе самом, зажатый меж двух холмов.

* * *

Он расползается к берегам залива, жадно протягивая руки к Соррентийскому полуострову, пытаясь подкрасться поближе к Аверсе, за Везувий, добраться до Флегрейских полей. Однако эти отростки меняют свою форму и структуру; видно, что они приросли к организму Неаполя с течением времени, конечно же они – не легкие, не кишечник, не печень города. Скорее, помимо собственной воли, они постепенно превращаются в его выделительные органы.

Тело Неаполя растет вертикально, углубляется к сердцу земли, стремится ввысь, к небу, но, поскольку гравитация устанавливает некие пределы для этого продвижения, то взмывая

вверх, он падает сам на себя, расплющивая все вокруг, превращая в кашу, преобразуя дома, памятники, улицы и людей, подобно тому как время растворяет часы у Сальвадора Дали.

* * *

В этом теле живет душа, которая говорит на забытых наречиях и новых языках, торопящихся исчезнуть, ведь они вернулись исключительно к устной форме, а письменный план и традиция утрачены.

Наш город был финикийским, греческим, латинским, египетским, византийским, лангобардским и норманнским, французским (говоря при этом и на северофранцузских и на южнофранцузских диалектах). Был испанским, каталанским и кастильским, австро-венгерским, немецким, итальянским, американским. Теперь – как, впрочем, и в прошлом – он является магрибским, южноафриканским, польским, ведь нашу знаменитую ромовую бабу изобрел поляк, украинским. А в последнее время стал еще и китайским; короче говоря, если у него и есть душа, то она многолика. Это душа, которая поглощает души ушедших, которая убивает и не хоронит, бросает и вновь подбирает, и, в сущности, многоязычие строителей Вавилонской башни – для нее повседневная реальность, что возможно лишь на Карибах или там, где древние африканские языки, смешавшись с французским, английским, испанским, произвели на свет креольские диалекты.

Однако Неаполь заботится о том, чтобы приезжие не замечали его способности поглощать и воспроизводить самого себя и покидали город, унося с собой лишь ощущение прозрачного воздуха и голубой воды – оно возникает здесь в дни благодатной прохлады, когда дует ветер и все вокруг кажется полным покоя и бесконечно прекрасным.

Однако для более вдумчивых существуют и иные маршруты – к спуску в преисподнюю, к Елисейским полям, туда, где город становится эфемерным, где в него проникают кареты фей и с наступлением вечера в лазурном сиянии предстают взору тех, кто спускается по лестнице в Петрайо или бредет по безлюдным улочкам.

В такие моменты они могут забыть о бродячих собаках и грабителях на мотоциклах: им грозит лишь одна опасность – опасность быть околдованными, очарованными, попасть во власть уныния и тоски, ведь вокруг этого чудовищного организма движутся облака, удивительный механизм природы и

одновременно сценическое приспособление, скрывающее луну над заливом, синь закатов, бледную зарю. Человека, который найдет время взглянуть на них, пусть даже на одно мгновение, в автомобильной пробке, они опустошают, лишают сил.

В такие моменты спрашиваешь себя: возможно ли, чтобы подобное чудо могло повториться?

Ведь это именно чудо, пусть даже кровь, из которой оно сотворено, не настоящая, как кровь святого Януария. Все дело в том, что зачастую эта ненастоящая, чужая кровь растворяется в нас, при этом мы нимало не возражаем, и мы остаемся пленниками этого организма, состоящего из дорог, уходящих под уклон, и всевозможных ловушек. Разочарованные, взволнованные, счастливые.

* * *

В наше время древние пути, ведущие в Неаполь, морские и подземные, соединились и перепутались со скоростными шоссе и воздушными трассами.

Ворота города подобны огромным разверстым устам: площадь Гарибальди с вокзалом, Каподикино с аэропортом. А вокруг разрастаются поселки, которые город поглощает, которые становятся его составными частями.

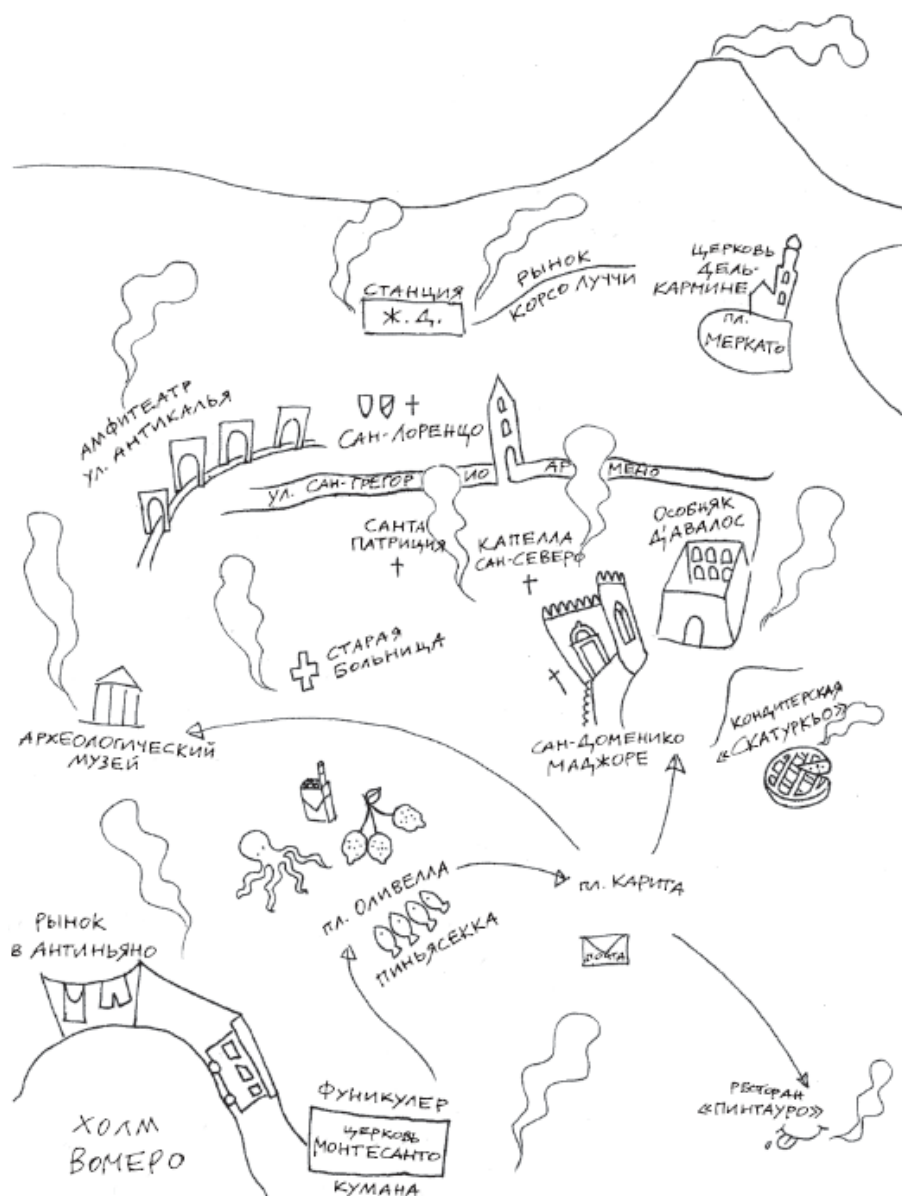
Это городские придатки, крупные торговые центры: “Порте ди Наполи”, “ИКЕА”, многочисленные “Леруа-Мерлен”, “Ашаны” и прочие огромные комплексы, – жители итальянских мегаполисов буквально заселяют их по выходным и праздничным дням вместе с бабушками, дедушками, тещами и свекровьями, как когда-то заселяли городские площади или пляжи. А еще есть пути, которыми пользуются все, но никто не воспринимает всерьез, например объездная дорога: на лугах вдоль нее иной раз можно увидеть коз, пасущихся среди пальм и елок, некоторое время назад я сама их там наблюдала.

Здесь есть рынки и фуникулеры, спальные районы и старинные кварталы, но с какой бы стороны ни смотреть на него, Неаполь представляет собой сочетание воды, воздуха, земли и огня, сложную сеть путей, по которым движутся потоки людей и камней, невидимых энергетических меридианов, образованных улицами, лицами, перекрестками, воспоминаниями, – это Венеция, где по каналам течет не вода, а магма.

Двигаясь по Неаполю, я всегда ощущала себя одноногим оловянным солдатиком из сказки Андерсена, которому суждено окончить свои дни в желудке рыбы, или Ионой во чреве кита.

На сей раз я покажу вам город стихий: Неаполь огня и тот, что состоит из воды, Неаполь земли и, наконец, воздушный город.

2 Там горячо



Первая станция – Поццуоли.

Сольфатара напоминает кемпинг семидесятых годов, и все же это место обладает пугающим очарованием. Небольшой вулкан стал ручным, остались лишь фумаролы [10], вокруг него растут сосны и работают кафе, но, по правде говоря, вскоре после начала прогулки эта местность начинает тревожить и наводить на мысли

о преисподней. Здесь обитают Тото в костюме мольеровского Скупого, попавший в фальшивый ад, населенный какими-то плутами, и такой же Вергилий, и такая же Беатриче с губами, накрашенными по моде пятидесятых, – я говорю об очень старом фильме “Тото в аду”.

Но больше всего ошеломляет и поражает дым, выходящий из дверей наблюдательных станций, устроенных прямо в самой горе: он возвращает зрителю ощущение неподдельной опасности, исходящей от земли и от ее испарений.

Эта огненная земля, столь близко граничащая с землей воды – с областью термальных вод, – это та самая пыльная Луна из песни, которую мы пели и под которую танцевали в детстве, композиции в стиле “йе-йе” Доменико Модуньо:

*Селена-эн-а, как прекрасно тут,
Селена-эн-а, прыг – и я уже там.
Селена-эн-а – такая вот загадка:
На Луне всё весит пол-
половинки.*

Помню, первые несколько раз мы с сестрой, закутанные в плащи, стеснявшие наши движения и делавшие нас похожими на пузатых, бочкообразных космонавтов, вприпрыжку устремлялись к фумаролам, невзирая на летевшие нам вслед крики “Осторожно! Осторожно!”.

Дно кратера покрыто кварцевой пылью, тающей, блестящей. Дым завораживает. Если летом в нашем распоряжении был песок из твердого гранита, упрямый, сверкающий морской песок Сардинии, не имеющий ничего общего с огнем, то зимой – это блестящая пыль, пахнувшая серой, тухлыми яйцами. Ветер доносил вонь до самого дома, так как балконы выходили на Низиду и Астрони, и запахок проникал через окошко в ванной.

С течением лет я все меньше ее чувствую, эту вонь.

Какой бы сильной она ни была, смог забил ее.

* * *

Но маленькие вулканы Флегрейских полей – Сольфатара, кратер Астрони, расположенный в природном парке Монте-Нуово (сегодня там заповедник) и возникший в результате извержения в XVI веке, а в наше время охраняемый Фондом дикой природы, не внушают настоящего страха. В стародавние времена активных колебаний земной коры Поццуоли вместе с Серапеем сдвинула вода, а вовсе не огонь. Так что это местность огненной воды, и

рассказывать о ней следует в соответствующей главе.

В весенние дни здешние улицы, дремлющие за спиной города, прекрасны, с них открывается чудный вид, они дарят счастье тем, кто приезжает сюда на пикник, чтобы напиться солнцем. Нет в Неаполе менее известного, но при этом столь пленительного места, как Флегрейские поля. Бесконечное разнообразие природы, произведений искусства и наследия античности, сосредоточенное на таком маленьком пространстве.

Огонь на Флегрейских полях кроток.

Зато в центре города горит пламя рынка.

Улица Пиньясекка – средоточие всего города: детьми мы ходили по ней в школу, потом ежедневно отправлялись сюда за покупками, потом на ней же оказывались по пути в больницу Веккьо-Пеллегрини – именно здесь расположено ее огромное ветхое здание.

Здесь мерцают сирены “скорой помощи” – обманчивые огни спасения, – и, поскольку они не обжигают, мальчишки передразнивают их, когда машины проезжают мимо: “и-и, и-и”, – вращая головами в подражание этим огонькам, которые быстро крутятся, пока автомобиль с умирающим стоит в пробке. На улице Пиньясекка сохранились очень красивые особняки и церкви. А еще ее можно назвать домом огня, ведь именно здесь велась контрабандная торговля сигаретами.

Когда мы прогуливаемся здесь с Серджио – он работает фотографом в “Иль Маттино” и живет в Испанском квартале, то есть как раз за улицей Пиньясекка, – мы бесконечно говорим о том, как меняются знакомые места, как трудно смотреть на них через слишком толстые линзы или даже в бинокль.

На Пиньясекку можно попасть с площади Карита, через площадь Оливелла, но для меня Пиньясекка начинается с другой стороны – со станции фуникулера, с Куманы, с метро (если ехать в университет или в студенческое общежитие, где я жила много лет назад, на улице Базиле), и это естественно: ведь любое место начинается там, откуда в него проникаешь.

Кто приходит с холма – приходит со свежей головой, кто приходит из переулков – у того голова тяжелая. Серджио знает Пиньясекку, которая начинается из-под земли.

До окончания Карнавала остается недолго, в витринах магазинов детской одежды выставлены маски. Дожидаюсь Серджио, я останавливаюсь, чтобы почитать названия костюмов: “Графиня Элиза”, “Граф Ристори”, “Бедная Эрика”, “Принцесса Анализа”, “Мышонок Диддл”. В моем детстве там стояли костюмы Джига, Голдрейка, Мазинги и Мазинги Зе [11] .

Появившийся Серджио сразу устанавливает камеру – так,

чтобы она снимала рынок со стороны Палаццо-делла-Реджионе [12] . Толку от него нет и никогда не было. Слепой глаз закона смотрит на Пиньясекку и не видит толпы, стремительно движущейся по улице. Прилавки и лотки старинного рынка постепенно превращаются в магазины, уцелело лишь несколько палаток с пищей и жареными закусками, торговец фруктами, существующий здесь с незапамятных времен, пара знаменитых торговцев рыбой.

На этой улице, ведущей к морю, вечно разлита вода из бочек с рыбой, а зимой всегда идет дождь, здесь горят огни проезжающих мимо авто и скутеров и наряду с обычной торговлей процветает наркоторговля, – красный спрут, которого продавец рыбы демонстрирует перед объективом Серджио, знаменует собой преемственность между потоками огня и воды.

С прежних времен сохранился лишь один прилавок, убранный словно вертеп: желтые дыни, красные рога [13] , подковы, чеснок, сушеные помидоры, зелень. Хозяйка здесь – Банановая синьора.

Банановая синьора, которая вот уже не один десяток лет держит ларек возле станции Кумана, нынче приболела. Замещает ее Дженнаро, родившийся в Кумане, он продает фрукты и овощи с семилетнего возраста – иными словами, уже пятьдесят четыре года, а начинал он как мальчик на побегушках у старика, владевшего тогда прилавком. Он помнит войну, бомбардировки, помнит, как люди бежали с рынка. Помнит он и контрабанду сигарет и показывает нам место, где Три колонки продавали курево. Он помнит все это фантастическое пространство, заполненное лавочками, лотками, голосами людей, которые находились здесь каких-нибудь лет десять назад, а теперь исчезли, не оставив следа. За спиной у него – новая Кумана, проект грандиозного размаха, и она постепенно вытесняет его самого и то немногое, что еще осталось здесь от прошлого. Есть одно старое описание Пиньясекки девятнадцатого века, и там перечисляются “специальности” рыночных торговцев: продавцы трав, растительного масла, бакалейщики, галантерейщики, корабейники и мясники.

Едва заметные следы этой Пиньясекки можно различить в церкви Санта-Мария-дель-Монте-Кармело, где похоронен музыкант Алессандро Скарлатти. Эту церковь, в просторечье называемую Монтесанто, сегодня знают многие, так как здесь расположена станция метро и остановка фуникулера.

“Здесь были ворота, названные в честь воздвигнувших их в году MDCXL вице-короля герцога Медины и разрушенные ради общественной пользы в году MDCCCLXXIII”.

Эта надпись сообщает о сносе последних ворот древнего города. Легкие призраки – Общественная польза, Банановая синьора, Три колонки – безмолвно сопровождают меня. Общественная польза со временем выселила отсюда торговцев контрабандными сигаретами, приведя взамен торговцев наркотиками: прошло несколько веков, а методы к этому телу применяются по-прежнему лишь хирургические. Снос, закрытие, угрозы. Но природа того, что живет внутри, от этого никогда не меняется, а посему все эти средства бессильны, они лишь опустошают, высушивают, убивают.

Название Пиньясекка [14] объясняют так: прежде в этом районе, находившемся сразу же за стенами и за Спакканополи, а точнее, за улицей Паскуале Скура, располагались самые красивые дворцы знати, и сороки воровали там драгоценности, которые складывали на сосне в саду виллы Пиньятелли. Власти тщетно искали воров, пока наконец не выяснилось, что в кражах виноваты крылатые преступницы, и тогда архиепископ отлучил их от церкви, а грамоту с отлучением повесили на сосну, которая тотчас же высохла.

В этом городе отлучают от церкви птиц и убивают деревья.

Сад виллы Пиньятелли называли Бьянкоманджаре, поскольку там посетителям подавали блюдо с таким названием – старинный греческий левкофагон [15], рис, сваренный в молоке.

Потом сады для богатых превратились в густо заселенные кварталы, и тогда настала эпоха Трех колонок – уродливых родственниц Софии Лорен, которая в фильме “Вчера, сегодня, завтра” постоянно беременела, чтобы ее не арестовали.

Сегодня под единственным уцелевшим деревом, лишь очень отдаленно напоминающем о старых садах, находится новый магазинчик маек и рубашек, принадлежащий паре азиатов. Здесь за место надо платить. Серджио фотографирует лоток продавца зажигалок, пережиток прежних времен. Мы пересекаем Пиньясекку в обратном направлении, двигаясь между прилавками, где выставлены горы компакт-дисков и видеокассет, бижутерии, которую продают негры, маек, которыми торгуют китайцы. Перемены способствуют торговле, но нас преследует вопрос: а где сегодня семьи прежних владельцев старых ларьков? Сыновей рынка завербовала иная жизнь. Возможно, они участвуют в потасовках на Секондильяно, занимаются рэккетом и наркобизнесом.

Об этом и о других “горячих”, “огненных” темах думается, когда проходишь мимо прилавков Пиньясекки. Даже в Рождество. Даже если вы счастливы.

А еще здесь находятся печи, в которых пекут сфольятелле [16] и пастьеры [17] .

Эти улицы, пропитанные запахом жареных пончиков и свежеевыпеченных сладостей, режут Неаполь вдоль и поперек, от “Пинтауро” на улице Толедо до “Скатуркьо” на площади Сан-Доменико-Маджоре.

Огни очагов, источающих дивные ароматы, огни тайн, менее кровавых, чем те, которыми полна площадь Сан-Доменико.

Между особняком Д’Авалос, местом трагической смерти Марии д’Авалос – ее вместе с любовником убили наемники сурового мужа, композитора Джезуальдо де Венозы, – и капеллой Сан-Северо, принадлежавшей принцу Раймондо ди Сангро, изобретателю и алхимику, который велел своему дворецкому разрезать его тело на куски и так похоронить, дабы со временем алхимический огонь позволил ему воскреснуть, мрачные легенды витают в достатке. Еще рассказывали, что ди Сангро ввел в вены своим слугам – отцу, матери и еще не рожденному ребенку – неведомое вещество, и теперь они, превратившись в каркасы из нервов, вен и артерий, покоятся в крипте церкви.

Потолки капеллы были расписаны веществами животного происхождения с особыми свойствами – это, возможно, объясняет их длительную сохранность, – и, наконец, для почитателей фрески “Христос под плащаницей” Джузеппе Санмартино скажем, что, согласно легенде, принц по завершении работы ослепил скульптора, чтобы тот больше никогда не мог сотворить столь чудесного произведения.

Однако по другим версиям сам Санмартино использовал для создания фигуры Христа живого человека: покрыл его тело плащаницей из мрамора, чтобы таким образом высушить материал.

Мой отец рассказывал, что немцы во время оккупации города вскрыли тонкий слой мрамора на поверхности одной из статуй капеллы, не веря, что в мягкой основе нет железного каркаса. Они его не нашли, пришлось смириться с чудом: мрамор оказался мягче, чем плоть.

И наконец, церковь Сан-Доменико-Маджоре, готическая, строгая, хранит память о Джордано Бруно и Караваджо, который именно для нее написал свое “Бичевание Христа”, ныне находящееся в Каподимонте, – снова страх перед карой вечного пламени, адских костров, огонь и искры.

Смертоносная прелесть этой площади такова, что, дабы пережить ее, совершенно необходимо зайти в “Скатуркьо”.

Обычно в “Скатуркьо” такая толпа, что нужно брать номерок, если хочешь получить сфольятелле, однако, если вы хотите узнать истинное лицо этого заведения, следует пройти во внутреннее помещение.

Некоторое время назад я решила послать пастьеру в Рим подруге-писательнице, Лауре Пуньо. Единственный способ сделать это – обратиться к самой синьоре Скатуркьо. Она сидит за стойкой в глубине своей кондитерской, пышнотелая, учтивая, со стаканчиком и сигаретой в руках. Синьора Скатуркьо, благородная дама из прошлого, принимает заказы и одновременно следит за тем, чтобы у привилегированных гостей – их мало, и они явились сюда по особому приглашению, – расположившихся в чайном зале, всегда были пастьеры и министриали. В отличие от сфольятелле и пастьер, имеющих старинное и довольно сложное происхождение, министриали – это сладости, изобретенные семейством Скатуркьо: сверху они покрыты шоколадом, а внутри – апельсиновый крем; они бывают разных размеров и являются фирменным блюдом кондитерской.

Синьора Скатуркьо красивым почерком записывает мой заказ на бланке, тончайшем и изящном, словно старинный манускрипт, потом просит меня подписать и отдает распоряжение своему подчиненному, чтобы тот взял бланк. Я тем временем наблюдаю, как рядом со мной какая-то дама спокойно и вдумчиво пробует пастьеру, меня она при этом едва замечает, а за моей спиной кондитерскую пытаются взять приступом посетители, которые по окончании штурма получают желанную награду – коробочку вожделенных министриали. И тут я совершаю ошибку.

У меня нет наличных. Я неуверенно указываю на банкомат. Синьора немного разочарована, но отвечает мне с олимпийским спокойствием, что это не проблема. И проводит платеж. Один раз, второй – тщетно. В ее руках система не работает. Я смотрю на бланк: он похож на школьные табели успеваемости моего отца, сохранившиеся в комод в столовой, в доме моих родителей. Крупные Г, крупные П. Крупная Р в слове “Рим”. Я начинаю покрываться испариной. Да еще и жара стоит.

Синьора Скатуркьо решает сменить тему и спрашивает меня: кто примет пастьеру по месту доставки? А параллельно копается с банкоматом. Мне приходится позвонить: ведь я не знаю, будет ли кто-то по указанному адресу: жилец дома, портье, слуга. Мне живо представляется, как пастьера путешествует к месту доставки на лошади и теряется на улицах Рима в своей красивой голубой упаковке со звездами.

Я звоню Лауре в надежде, что не оторву ее от работы, не помешаю написанию стихов.

– Лаура, подтверди, пожалуйста, адрес. Пастьеру доставят во вторник, кто ее примет?

Кто примет пастьеру... Какое поле для раздумий! Надеюсь, Лаура оценит. Когда-то вручение подарков сопровождалось особым ритуалом, и, кажется, сейчас я как раз в нем участвую. Только вот банкомат по-прежнему не работает. Синьоре Скатуркьо надоедает возиться с аппаратом, который кажется ей очевидно бесполезным, и она, вяло улыбнувшись мне, снимает телефонную трубку. Быть может, воображение сыграло со мной дурную шутку – наверное, виновата жара, Джордано Бруно, арагонские наряды, предстающие взглядам посетителей в Сан-Доменико-Маджоре, трепещущие на сквозняке в помещении церкви, словно души грешников, переулочек Тавутари, то есть переулочек Гробовщиков, где жил Раймондо ди Сангро, пастьера, которую везут на лошади, жгучая брюнетка Лаура, вся эта мистика среди бела дня, – но я уверена, что синьора звонит со старинного дискового телефонного аппарата, вроде того, что был у нас дома в семидесятых. В результате этого звонка на сцене появляется новый персонаж – сын синьоры Скатуркьо.

Как и у любой уважающей себя матроны с Юга, а это женщины крепкие, энергичные, авторитарные, сын синьоры Скатуркьо на первый взгляд кажется слабым, вялым и сердитым. Он горбится, у него светлые усы, он выглядит старше матери, а может, просто более усталым, чем она, ведь у печей, из которых он как будто возник, еще жарче. Синьор Скатуркьо-младший пытается заставить банкомат работать. После некоторой возни проблема решена, хотя и не полностью: аппарат в конце концов выдает не один чек, а два – аннулированный и правильный.

– Сохраните его на тот случай, если вдруг мы заставили вас оплатить не одну, а две пастьеры.

– Да, спасибо.

Покидая кондитерскую, я представляю себе сцену из неаполитанской комедии – вялую перебранку матери и сына. Сладкую, сахарную, как пирожное сантароза, как пастьера, как шу со взбитыми сливками.

Позже подруга из Перу рассказала мне, как ее приятель, желая произвести на нее впечатление, повел ее в знаменитую кондитерскую. Синьора Скатуркьо, любезная до крайней степени, собственноручно приготовила для них чай и вообще старалась всячески услужить. Росана, обладающая весьма экзотической внешностью и при этом очень красивая, вся в белом, с длинной черной косой, молча сидела за своим столиком. Некоторое время

спустя синьора Скатуркьо похвалила ее:

– До чего хороша... Ну до чего же хороша, – а потом обратилась к ее спутнику, словно Росана не понимала по-итальянски: – Но ведь она не местная? Не местная, верно? – После чего повторила: – Как хороша, нет, ну как хороша...

Все это она произнесла шепотом, словно перед ней была фея. Росана улыбнулась и решила поддержать ее игру, сделав вид, будто не понимает по-итальянски, и выдавая себя за то сказочное существо, которым сочла ее синьора Скатуркьо. Эта сцена, словно из какого-нибудь фильма Феллини, тоже завершилась вручением госте корбочки министриали.

– Вы ведь еще придете, верно? Придете? – учтиво спросила хозяйка.

– Конечно, синьора, спасибо.

Росане подумалось, что, если в “Скатуркьо” явится цветной мальчишка, его не назовут красивым и не пригласят прийти еще. И эта мысль заставила ее страдать.

Неужели мы действительно придаем значение лишь внешней красоте? – задавалась она вопросом. Неужели мы разучились видеть красоту внутреннюю?

У меня нет ответа на эти вопросы. Она была так прекрасна, когда задавала их. А заполнявшая красивым почерком квитанцию к моей пастьере синьора Скатуркьо выглядела просто волшебной.

Научиться не замечать красоту, проходить мимо тайны?

Кстати, я так и не проверила, за сколько пастьер заплатила.

* * *

Внешне неаполитанцев тоже можно разделить на несколько типов, соответствующих тем или иным элементам.

Есть, к примеру, тип огненный, напоминающий перуанцев, хотя на самом деле его представители, в отличие от моей подруги Росаны, к Перу отношения не имеют, – иссиня-черные, прямые и жесткие волосы, крепкий нос.

В Неаполе много женщин этого типа, у них глаза ведьм, на шее всегда несколько ожерелий, на пальцах массивные кольца – такова моя подруга (и тезка) детская писательница Антонелла Оссорио. Такие испано-латиноамериканские черты – наследие испанцев, когда-то владевших городом.

А среди мужчин попадаются персонажи с семитскими лицами: большие, восточного типа глаза, негустые, но длинные, спускающиеся на плечи волосы, небольшие очки. В Неаполе действительно на протяжении многих веков существует

маленькая еврейская община. Помимо этого здесь встречаются типажи французские. Можно увидеть и необычное сочетание греческих черт с белокурыми норманнскими шевелюрами, как у галлов Астерикса и Обеликса; к такому типу относится мой друг Винченцо. Порой обнаружишь в местной толпе и швейцарцев.

Неаполитанские лица сродни пейзажам. Лица, принадлежащие стихиям огня, земли, воздуха, воды. Лица некрасивые и устрашающие, словно лица сирен и гарпий (настоящих, а не диснеевских). Птичьи лица. Лица будто застиранные, блеклые. Темные, сарацинские лица – их обладатели кажутся потомками свирепого Саладина. Лица с печатью неизбывной думы, или же старых обид, или полученных по наследству, хотя зачастую и позабытых, бед. Лица из ателлан [18] – обвисшие щеки, круглые рты, толстые губы, мешки под глазами навывкате. Это лица-маски, или “персоны”, как называли их в древности. Быть может, отсюда возникло представление о том, что Неаполь – город театральный: ведь он населен персонажами, а не обычными людьми.

* * *

Много лет назад в одном из огненных мест города, том, где прежде горели костры, организовали постановку, представлявшую знаменитый эпизод – восстание Мазаньелло [19]. Площадь заполнилась народом, многие до сих пор помнят это зрелище. На одну-единственную ночь лица, зажженные пламенем мятежа, опять обрели свет и краску, и вновь поднялась прежняя ярость благодаря силе искусства. А сегодня площадь Меркато [20] пуста. Как будто смотришь на какую-то емкость, от которой остались лишь края, контуры.

Древние, удивительной красоты очертания церкви Дель-Кармине, Сант-Элиджо, норманнских стен, современные тринадцатизэтажные здания, находящиеся в полном небрежении, постройки, наполовину разрушенные бомбардировками Второй мировой, но до сих пор еще не снесенные. Но если не считать этих переменчивых границ, площадь и ее окрестности пусты. И все же рынок здесь был даже тогда, когда облик этого места весьма отличался от сегодняшнего, еще до того, как площадь перестроили в XVIII веке, до нововведений Бурбонов, когда это пространство, ограниченное по краям башнями, называлось Кампо-дель-Мортичино – Лагерь мертвеца – из-за облюбовавших его сарацинских купцов.

Именно тут начались злключения Андреуччо из Перуджи

[21] , наивного торговца лошадьми, которому судьба уготовила падение в проулок с нечистотами и участие в разграблении могилы. Уже во времена Боккаччо здесь шла бойкая торговля, причем приобрести и потерять можно было что угодно – и мнимое родство с прекрасной и коварной сицилийкой, и драгоценности, и душу, и кошелек. Именно здесь, на рынке, произошло восстание Мазаньелло, и здесь же он был казнен. Это место костра, огня вообще, место войны и мученичества, смерти. В разгар июля на рыночной площади жгут костры – примерно в то же самое время, когда в Ноле проходит праздник лилий.

Но одновременно тут властвует воздух, без которого, как известно, огонь не горит: колокольня церкви Дель-Кармине, с барочными луковицами, упирается в небо, круглое, воздушное. Архитектора звали Фра Нуволо – брат Облако, – и это имя тоже наполнено небом.

В общем, здесь можно вспыхнуть и сгореть.

* * *

В детстве я ходила на эту площадь вместе с мамой, поскольку она была директором начальной школы “Гуаччи Нобиле”.

Во дворе этого учебного заведения было припарковано множество машин, и мы с детьми-ровесниками играли в “Раз, два, три, звезда!” [22] .

Здорово быть дочерью директрисы!

Я беспрепятственно шастала по классам, рисовала на досках в пустых аудиториях, читала учебники, валявшиеся в учительской. Я была в школе кем-то вроде туриста первого класса.

В семидесятых годах за рыночной площадью к преподавателям, директорам, секретарям относились с уважением – гораздо большим, чем то, какое в наши дни им оказывают в богатых кварталах, например в Позиллипо: все с ними здоровались, раскланивались почтительно, даже те родители, которые как воспитательную меру использовали побои.

Здание школы представляло собой ветхий особняк XVIII века, в секретариате царствовал учитель Альдо Батталья, воитель как по имени [23] , так и по поведению, – единственный сотрудник, к которому моя мать никогда не имела претензий. Секретариат размещался в комнате с высоким потолком, за огромной деревянной конторкой с откидной панелью.

Учитель Батталья всегда спрашивал меня:

– Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

И поскольку отвечать “писателем” или “поэтом” казалось мне самонадеянным, ведь я была невысокого мнения о своих способностях, я говорила:

– Журналисткой.

Он улыбался – сигарета в зубах, французское “р”, руки в коричневых пятнышках.

Учитель жил на улице Астронавтов (мне казалось, и по сей день кажется, невероятным, что в Неаполе существует улица со столь воздушным и современным названием), на Колли-Аминей.

Во время землетрясения один из филиалов школы, тот, что в Сенезе, эвакуировали.

Детей хотели перевести в другое место, расположенное за пределами Неаполя, в Ночере.

Разумеется, моя мама воспротивилась этому. Только представьте себе, как дети с площади Меркато каждое утро ездят в школу в Ночеру на автобусе!

Филиал из Сенезе расположили в каких-то бараках напротив улицы Марина, поблизости от порта. Зимой там стоял жуткий холод, ученики сидели на уроках в пальто, а еще там можно было поиграть с живыми зверюшками – мышами, лягушками.

Однажды утром я списала две стихотворные строчки из книги, найденной в учительской “Гуаччи Нобиле”, и использовала их, чтобы сочинить стихотворение о весне. Мы впервые получили такое задание, и я была уверена, что не справлюсь. Разве я не говорила учителю Батталье, что поэзия – не для меня? Что газеты – дело куда более серьезное? Те две строчки красовались на странице с изображением цветущего персикового дерева и звучали так: “Весна, ты так мила и так легка...”

Я хотела их списать, просто чтобы подтолкнуть себя, а продолжить самостоятельно, так что это не было слишком серьезным преступлением.

И действительно, все прошло просто великолепно. Хоть мне и было стыдно за эту кражу, в которой я так и не призналась своей учительнице Аделе Мильярези, она поставила мне пятерку – красной ручкой.

С тех пор прошло столько лет, и теперь на писательских семинарах, которые я веду, в качестве одного из первых заданий я предлагаю слушателям продолжить стихотворение с заданной строчки. Это упражнение называется cut-up – “отрежь и приклей”. Сама того не зная, на площади Меркато я, вопреки высказанному намерению стать репортером, совершила первый шаг на пути к ремеслу писателя.

Сегодня в разгар дня, когда должна бурно кипеть торговля, на Меркато, рыночной площади, здесь увидишь разве что

владельцев нескольких магазинов, открытые витрины которых выходят на улицу. Они сидят на солнце, в плотно застегнутых пальто и теплых куртках, смотрят на нас неприветливо, объясняют дорогу, теряют время. На мостовой расположились трех- и двухколесные велосипеды, детские мотоциклы, лошади-качалки, коляски. Некоторые товары – например, лошади-качалки с гривой – завернуты в прозрачную пленку и напоминают детей, которых в холодную погоду укутали против их воли. Вся площадь завернута в ткани, словно гигантская инсталляция, изображающая сцену из жизни Христа.

Один из торговцев протирает от пыли свои розовые велосипеды с кроличьими мордочками и ушками.

– Рынок мертв уже много лет. Видите? – Он указывает на Сант-Элиджо и близлежащие улицы. – Там тоже все закрыто. Во всем виноваты китайцы.

Я поворачиваюсь в указанном продавцом направлении в поисках взвода китайцев, но вижу лишь большие контейнеры, запертые цепями, относительно новые дома, припаркованные машины. Сант-Элиджо, святому Элигию, покровителю ювелиров и кузнецов, больше некого опекать в этом месте, где когда-то у всех ремесленников была своя часовня: Сант-Элиджо – у кузнецов, Сан-Чириако – у мясников, Сан-Мауро – у торговцев птицей, Санта-Кроче – у луккских купцов. Я оглядываю площадь и различаю на запертых балконах с плотными решетками шесть ярких байдарок – из тех, что летом на пляжах сдают напрокат, а еще их можно увидеть на крышах автомобилей, мчащихся к морю. Желтые и ярко-красные лодки бросаются в глаза, благодаря своей кричащей окраске, словно серфы в болливудской комедии “Невеста и предрассудки”. На заднем плане фонтаны XVIII века, творения Сегуро, с их гирляндами и сфинксами с почерневшими от выхлопных газов мордами, соседствуют с футбольным полем, границы которого очерчены краской, а рядом выстроились припаркованные авто, образующие в плане некое подобие ненатянутой сети, они словно играют в шашки с голубым небом над площадью.

В белоснежной витрине магазина белья и детской одежды красуется черный чиччобелло [24] : на Рождество его продавали с прилавков на площади Карита как “сына Тайсона”.

Поблизости от проспекта Лучи находится рынок “нкопп-э-мура”, или Сопрамуро (“над стеной”), – его планировка повторяет

расположение анжуйских стен. А в одной из башен, высокой и по-прежнему заметной, в нарушение всех правил расположилось чье-то жилище. Здесь огонь смешивается с водой. У подножия башни торговцы рыбой, фруктами, белые в полоску палатки, слегка накренившиеся, на веревках.

Безмолвная тень воздушной колокольни церкви Дель-Кармине и французская готика Сант-Элиджо никуда не пропали. Они ведут непростой диалог с грудой ванн из голубой пластмассы – тех, где вручную стирают белье.

* * *

“Во всем виноваты китайцы” – в наше время эта фраза хороша на все случаи жизни. Часто к ней прибегают, чтоб излить атавистическую ярость, заглушить память о бедности, отыгаться за несправедливые потери или оправдать плохо скрываемое, неподвластное самому себе женоненавистничество, бессильный мужской гнев в адрес города-женщины. В Неаполе гендерный вопрос до сих пор не решен; у представителей культурных классов он сублимируется, но с большим трудом, и время от времени возникает снова, подобно ненависти к захватчику-иноземцу. А мы живем в эпоху китайцев.

Как-то в воскресенье около пяти вечера я ехала в такси на площадь Амедео, водитель выглядел очень уставшим: он проснулся в шесть утра, и его рабочий день заканчивался через час. У него была тоненькая, ниточкой, бородка, узкие, немного раскосые глаза.

– Тяжело, наверное, начинать работу в такую рань, – посочувствовала я.

– Да нет, – вздохнул он, – смена начинается в полдевятого, просто теперь я всегда просыпаюсь в это время. А сейчас мне предстоит еще отправиться в спортзал: я не могу сразу вернуться домой.

– Нет? – изумилась я. – А почему?

– Я иначе с ума сойду: у меня жена дома. Ей бы встречать меня после трудового дня с распростертыми объятиями, ласково, а она вместо этого...

– Ваша жена не работает? – Впрочем, ответ я уже знала.

– Нет, она сидит с детьми. А я сначала пар выпускаю, а уж потом возвращаюсь домой, готовый лечь спать.

“Вот молодец”, – подумала я.

– А ваша жена никогда не работала?

– Как же! Она прежде вышивала для свадебных платьев.

– О, это трудно, – с энтузиазмом откликнулась я.

– У нее здорово получалось, но сейчас платья для невест изготавливают конвейерным способом, а вышивка стоит дорого, и никто ее больше не заказывает. Теперь ей вроде пообещали работу у одного обувщика из Позитано: будет делать головки.

– Дело хорошее, – согласилась я, героически сражаясь за уважительное отношение к жене и страстно желая, чтобы она получила эту работу. – Ей, наверно, будут прилично платить.

– Ну... если только там объем работы большой. За гроши я ей не позволю соглашаться на эту работу. Иначе она перестанет меня уважать. А ведь мне еще и помогать ей придется. Вот приду домой, найду там головку – в окно выкину...

Я не возражаю. Эта битва проиграна.

Неаполитанские мужчины, подвозя женщину, сначала всегда пытаются угодить ей, а потом начинают плохо говорить о женах, ожидая сочувствия, немыслимого в такой ситуации.

Время от времени, видя, что разговор не клеится, они начинают плохо отзываться о женщинах за рулем.

Пауза. Потом таксист продолжает:

– Но может быть, я стану ее работодателем: открою свое дело, возьму ее к себе и буду на этом зарабатывать. Зря я не заставил ее получить права: она бы ездила на работу, а я бы сидел дома...

Во всем виноваты китайцы.

* * *

А еще на холмах, где полагается дуть ветру, в Неаполе зачастую властвует огонь. Я говорю о том, что исторгают из себя вулканы, о воздухе, полном тревоги: здесь находят себе выход внутренние процессы в организме города, осуществляется гуморальная регуляция.

“Психовать”, “поджилки трясутся”, “все внутри переворачивается”, “все внутри закипает”, “в печени засесть” – подобные выражения в неаполитанском языке связаны с состоянием ярости.

Действительно, печень от ярости увеличивается, ярость ослепляет, а еще и сам орган, и соответствующая эмоция в китайской традиции принадлежат к стихии огня. Заболевания глаз связаны с заболеваниями печени, поэтому, охваченные яростью, мы перестаем видеть.

Чтобы заглушить голос печени, в Неаполе пьют кофе, однако от него только хуже. Как известно, кофе способствует возбуждению. И охваченный яростью город, чтобы успокоить

– Ну что за день, там дерутся...

Нет никаких празднеств в Антиньяно, на рынке за площадью Артисти, в Вомеро. Кризис – хотя в проходах между лотками и прилавками по-прежнему толпится огромное количество народу и давка точно такая же, как в мои школьные годы, когда поход на рынок означал, что мы прогуливаем уроки и домой вернемся с кучей свитеров и сережек в портфеле.

Но, как сказал один из продавцов, “то были восьмидесятые годы... в то время люди строили себе дома, не то что сейчас...”.

До Рождества осталось меньше трех недель, каждый сантиметр пространства занят торговцами.

Как у них идут дела в нынешнем году?

– Отвратно, – отвечает один, остальные корчат гримасы, машут руками в знак согласия и поддакивают:

– Да, совершенно отвратительно...

Бруно Галуччо, поэт и физик, живет напротив Антиньяно, куда его родители переехали в середине пятидесятых. Тогда, вспоминает он, они с гордостью говорили: мол, жилье выбрали в спокойном, тихом районе... В ту пору рынок располагался по соседству с треугольным лугом, по центру которого росло одинокое дерево. Рынок, говорит он, это разросшаяся семья, сцена, где сменяют друг друга представители актерских династий, они наследуют друг другу, иные уходят со сцены в силу возраста или в связи со сменой деятельности, это мир возгласов, обращенных к покупателям, громких шуток... И я помню, какой пугающей казалась тишина, воцарившаяся в этом оживленном месте после масштабного землетрясения 1980 года.

В старом Антиньяно спокойная атмосфера старых магазинчиков наполнена духом Рождества: яркие краски цитрусовых, украшения, моцарелла и качкавал в витринах, лампочки в виде звезд на кафельных плитках за тушками лавраков – все вместе напоминает праздничный вертеп. У меня за спиной проезжает оклеенная старыми газетами ярмарочная повозка с фото Одри Хэпберн и Мэрилин Монро, с красным рогом и осликом [25] , оттуда раздается громкая музыка.

Бруно подарил мне свое стихотворение, на которое вдохновил его этот рынок:

И тогда преступи через край, что

*спускается в день,
Где лозы виноградной кудрявая
сень,
Листьев шум на прилавках
И шорох груженных корзин.*

Улица Сан-Грегорио-Армено, дорога пастухов, известна во всем мире. Не только пастухи древности, но и современные персонажи властью телевидения превращены в религиозные фигурки из терракоты.

Здесь плачут мадонны, здесь крестьянки остужают при помощи вееров жареные каштаны, по-акульи улыбается Берлускони, поднимается на ветру юбка Мэрилин, мыши грызут сыр, высятся пробковые горы, а деревья крепятся при помощи проволоки.

Санта-Патриция, площадь Нило, Сан-Лоренцо-Маджоре и Сан-Гаэтано – это церкви, монастыри и статуи, идиллические картины с развалинами и колоннами, позаимствованные из неаполитанского вертепа.

На Рождество на улице Сан-Грегорио горит множество электрических огней: фонарики на елках, подсветка в часах с боем, огоньки, торчащие на картонных декорациях и те, что прячутся в искусственных фонтанах, в которые встроены моторчики – чтобы вода текла по-настоящему.

В старинных гончарных мастерских полно туристов, которые, сами того не ведая, проходят мимо одной из самых красивых церквей в Европе – церкви Джероламини. Жаль, что она всегда закрыта. Там хранится удивительная древняя библиотека – впервые я увидела ее в журнале, получить доступ туда весьма трудно. С улицы Дуомо открывается вход в картинную галерею Джероламини, где находится множество портретов XVII века, которые, быть может, опечаленные своей извечной одинокой долей, в полумраке разглядывают посетителей.

В Неаполе множество закрытых церквей: Сант-Агостино-алла-Дзекка, постепенно приходящая в запустение, от старинного великолепия которой остались лишь узорчатые лестницы, заваленные мусором; церковь Дела-Сапиенца на улице Костантинополи, окруженная бетонной стеной, и бесчисленное количество других. И лишь отчасти утешают фрески на потолках Сан-Пьетро-а-Маджелла.

При этом даже для короткой экскурсии по открытым церквям Неаполя – этой дороге огня, отмеченной огоньками свеч и лампадок молящихся, – потребуется целая неделя.

В XVII веке, когда Неаполь наряду с эквадорским Кито был

самым густонаселенным городом мира, храмов здесь было больше, чем в Риме.

Проходя по улице пастухов, необходимо хотя бы одним глазом увидеть напыщенное, кустарное, картонное, с вертепной позолотой барокко Санта-Патриции, построенной поверх древних византийских монастырей, и заглянуть во внутренний дворик – в отличие от самого здания, аскетичный и рациональный, состоящий из множества арок, из света, фонтанов и апельсиновых деревьев. А еще нужно заглянуть в Сан-Лоренцо, церковь Боккаччо и Фьямметты, готическую и французскую, нежную, как дама с единорогом, с высокими арками, изящными нишами и подземельями, где прячется Неаполь древнеримский.

На главном алтаре Сан-Лоренцо находится барельеф Тино ди Камаино с изображением фасада церкви Сан-Гаэтано, расположенной как раз напротив, – там торжество ярких красок, алые и изумрудные мантии Солимены, мрамор с инкрустациями, – как в эпоху раннего Возрождения, и до сих пор стоят перед нею колонны античного храма Диоскуров.

Это дорога уникальных видов, место, где древнеримские цирки переделаны в особняки – современная улица Антикалья как раз и представляет собой бывший *circum* [26] со львами и гладиаторами. Трибуны амфитеатров вписались здесь в фасады домов, здесь увидишь марионеток, изображающих самые разные типы, ангелов в развевающихся одеждах, летящих под потолками подвальных этажей, расположенных на уровне тротуара, кукол из воска и дерева, приютившихся в больнице Бамболе. Одним словом, Сан-Грегорио – это гофманское сердце Неаполя.

Здесь живут автоматы, столь любимые немецким романтизмом, поющие девочки без души, женщины у окна, приводимые в движение веревками, нитями и специальными механизмами.

Здесь можно влюбиться во множество Коппелий [27] : одна торгует савойской капустой, другая делает пиццу, третья охраняет покой спящего Младенца Иисуса.

* * *

Его видно почти из любой точки города. Подняться туда легко: нужно идти меж вызывающего вида домов и вилл, роскошных клубов и ресторанов, приморских сосен, выросших на затвердевших потоках лавы. Добраться до Везувия – задача вполне осуществимая, если речь идет о маршруте. В результате

спекуляций недвижимостью и попустительства властей вулкан практически поглотили всевозможные постройки, он символ неаполитанской несознательности.

Или, лучше сказать, свидетельство того, что скрываемая от посторонних сознательность неаполитанцев спит. Мы надеемся на то, что он не жажнет, мы дразним его, заговаривая дремлющую разрушительную силу. А тем временем строительство продолжается...

Виллы с пальмами, вьюнами и гибискусом, бассейны, пиццерии, аквапарки. Везувий – огненное жерло Неаполя, средоточие всех городских огней, включая пламя газовых конфорок и фейерверки. На гуашах, иллюстрирующих “Большое путешествие” [28], он изображен во множестве вариантов: извержение на рассвете, извержение на закате, извержение в полнолуние, люди, спасающиеся от извержения, лодки на море во время извержения, извержение со стороны, извержение с дымом, извержение с потоками лавы, извержение с летящими кусками лавы. Губительное извержение, волшебное извержение, неминуемое извержение, спокойное извержение, извержение для ученых, извержение для иностранных туристов, извержение с Мадоннами и святыми, которые, воздев руки к небу, восклицают: “Остановись!” Извержение, пожирающее дома, извержение великолепное, с праздничными искрами и ярко-голубым небом на заднем плане (в наши дни подступы к кратеру заполнены наглым бетоном).

На него взбирается двойник Бассолино [29] в киноновелле “Восхождение” Марио Мартоне, вошедшей в фильм “Жители Везувия”, а за выбившимся из сил мэром следуют вóроны Пазолини, почтальоны, рок-певцы, актрисы, призраки левых журналисток и все городские нищие.

Но быть может, сегодня Везувий уже не является символом Неаполя, главной целью туристов из Германии, Англии, Франции. Да, он больше не символ, такой, как пинии на Позиллипо: ведь он совсем исчез за улицами и домами, и никто больше не обращает на него внимания.

Когда идет снег, как это случается в странные зимы начала тысячелетия, верхушка вулкана белеет, все показывают на нее пальцем, а я вспоминаю прочитанную в детстве “Снежинку и Апрельцвет” [30]. На картинке Снежинка была изображена на горном хребте в белом капюшоне, а ее отец Январь тем временем спал, словно усталый факир, растянувшись между остроконечными горными вершинами.

Если ехать на Везувий на машине, создается впечатление, что город и пригороды растягиваются по мере подъема, что в

полотне, из которого соткана вереница домов, есть какой-то провал, а на самой вершине будет дыра, проделанная макушкой Везувия. Мимо площадей с припаркованными автобусами, мимо ресторанов с верандами, отделанными позолоченным алюминием, мимо сосновых аллей, вдоль пластов застывшей лавы – совсем древних и более новых, по которым можно спокойно гулять, среди можжевельников, сразу приводящих на память Леопарди, добираешься до вершины, где перед пыльной дорогой к самому жерлу стоит касса.

Ступать по пемзе трудно, от подъема устаешь. Жерло огромное и пустое, над ним тревожно дует ветер. Никаких ограждений нет, можно заглянуть внутрь, при этом возникает ощущение, что вот-вот упадешь.

* * *

Неаполитанцы редко совершают прогулки к Везувию: зачем напоминать себе о дремлющей опасности? Если неаполитанец вдруг проникается ненавистью к себе подобным, в голове его всплывает слоган, несколько лет назад столь популярный среди ультраправых Вероны: “Везувий, подумай о нас ты”.

Но Везувий если и думает, то думает как динозавры: ему для этого нужны долгие века, за последние столетия он так много поработал, что, быть может, теперь уже ни на что не способен. Прежде он извергался раз в два года, потом раз в двадцать лет, потом раз в сорок. Теперь он перевалил отметку в шестьдесят, и время от времени люди, мало что в этом понимающие, делают какие-то измерения и рассуждают о планах эвакуации, эффективность которых довольно сомнительна.

На Везувии и вокруг него пробки даже летом, даже во время Феррагосто, периода отпусков, поэтому неясно, каким образом можно убежать отсюда во время извержения или еще перед самым его началом.

В общем, Везувий мирно дремлет, поглощая ясный воздух, идущий с моря, как и его сестра, гора Фаито, расположенная неподалеку, поросшая елями, белая от снега, – так они и стоят, гора и вулкан, связанные общей морской судьбой.

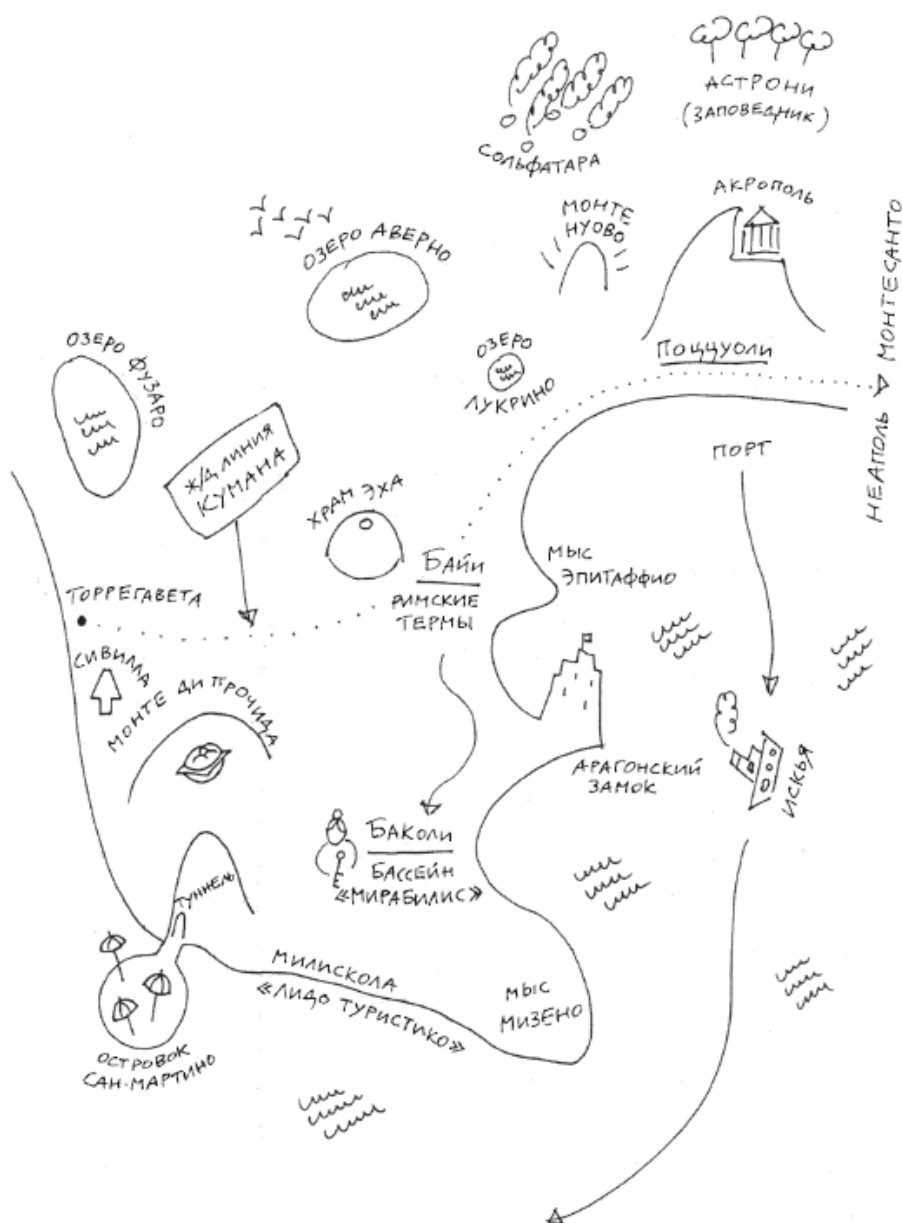
* * *

Настоящее пламя, способное вспыхнуть, в Неаполе есть, но его не видно.

Оно снится по ночам, является в кошмарах жителям Сан-Джорджо и Торе-дель-Греко, буржуа и бандитам, вползает в новые дома и на старинные виллы, рычит, как на празднествах в честь святых или в древних комедиях, нечто непередаваемое, неразборчивое – простые звуки, напоминающие диалог Тото и Нино Таранто:

– Ну, там чо?

– Там горячо [31] .



Вода проходит лишь по границе нашего алхимического города.

Вода, которой, в сущности, полагается течь в пределах Неаполя – по рекам, ручьям, сточным канавам, античным водопроводам, на самом деле окружает, очерчивает его: море, на

котором он стоит, теплая вода термальных источников на северной границе, выходящая на поверхность через вулканы Флегрейских полей.

Вода, как и огонь, взяла Неаполь в осаду: на севере вулканы, Сольфатара, где наружу вырываются струи серного пара, Монте-Нуово и дымящий кратер Астрони, на юге – Везувий. Поэтому ему лишь остается быть городом земли – земли каменистой, темной, истощенной. Ноги его слишком глубоко увязли в ней, и их не видно, а голова состоит из прозрачного воздуха, и при этом город, сам того не замечая, рождает витающих в облаках философов, прочно стоящих на земле писателей, текучих художников и безутешных математиков.

Голова, состоящая из воздуха, ничего не знает про брюхо, принадлежащее стихии земли, она с ужасом взирает на огненные органы и каналы и умиротворенно созерцает каналы воды, которые ее питают.

* * *

Термы Нерона и теплые источники в древних Байях разделены массивной скалой, которая врывается в море, – мысом Эпитаффио. Под ним, в голубой бездне моря, покоится огромный город, протянувшийся до самых Бай. В древности здесь любили отдыхать императоры и римская знать, а сегодня это место частично ушло под воду, его можно осмотреть на лодке. То, что осталось на суше, представляет собой один из интереснейших археологических заповедников в мире наряду с ПUTEОЛАМИ, Байями и Кумами и термами Нерона, действующими и поныне.

Это земля одиноких поэтов, которые иной раз пишут полатини, таких как Микеле Совенте, громадных ресторанов, где подают мидий и устриц из Фузаро, где по воскресеньям собираются большие компании; здесь назначают друг другу свидания славянки средних лет и престарелые ревнивые неаполитанцы, это край, где огромные региональные инвестиции исчезают в руках прохиндеев, здешние пляжи, некогда чудесные, нынче завалены мусором, и тем не менее это земля забытых богов, место с неисполненной судьбой, и оно по-прежнему остается одним из самых красивых в окрестностях Неаполя.

Неаполитанские воды невозможно воспринимать отдельно ни от древнеримских серных вод, ни от терм современных – купален, располагающихся среди зеленых лугов, с тремя бассейнами, с кальдарием [33], с лечебными грязями и многочисленными оздоровительными процедурами.

В Италии я часто хожу в термы. Мне нравится купаться в горячей воде. В некоторые из них я наведываюсь снова и снова – например в Раполано в Тоскане, вода там небесно-голубая и белое, мягкое, сыпучее дно: много известняка. А на Искье, напротив, вода соленая и немного вязкая, прозрачная, бурлящая. Сернистые воды моря, не земли, подобные тем, что в Сатурнии, пахнут полем.

В Байях вода соленая и плотная. В кальдарии, где снимали эротическую сцену из фильма “Любовь утомляет” с Анной Бонаюто и Пеппе Ландзеттой, температура воды часто превышает сорок градусов, а поскольку водоем находится в помещении, в отличие от тосканского, внутри стоит густой пар, от которого трудно дышать, и чувствуешь себя не в своей тарелке.

Зимой в термы приходят пузатые, волосатые мужики с толстенными золотыми цепями на шее, внешне весьма смахивающие на героя Пеппе Ландзетты. А летом или весной публика тут становится более разнообразной: женщины, целые семейства, влюбленные пары, наводящие ужас оравы детей. Однако – редкость в Неаполе! – в термах довольно тихо, шумные неаполитанцы разговаривают там вполголоса. Даже когда народу много, нет тягостного ощущения толпы.

Водоем с темной грязью соединяется с озером каналом, где плавают гуси, он вызывает смутное беспокойство, но температура там идеальная. Вокруг передвигаются коричневые силуэты: грязь, которую добывают оттуда, черная и смолянистая, и посетители намазывают себе ею тела и лица, превращаясь при этом в исчадия ада. Даже в роскошных дизайнерских душевых черноту смыть не так-то просто.

Холодный водоем, расположенный ниже, для тех, кто помоложе, или для любителей контрастов – после кальдария.

Водоем посередине служит олимпийским бассейном. Несмотря на запрет нырять в него с высоты, в нем без конца поднимаются столбы брызг.

Я плыву без очков, и тут мальчик-даун обнимает меня и целует.

– Ты красивая! – произносит он и устремляется прочь. Родители мягко укоряют его.

Все происходит так быстро, что я не успеваю среагировать и, глуповато улыбаясь, спешу добраться до безопасного угла.

В кальдарии в разгар дня люди сидят как идиоты, при сорокаградусной температуре, похожие на огромных тритонов в цветных трусах. Под холодным душем я пытаюсь поднять себе

давление. В соседних залах многие спят, задрав ноги, поставив рядом запотевшие бутылки с водой, только что покоившиеся в холодильнике. По этим комнатам все бродят расслабленные, вялые, отупевшие от купания.

Автомобили припаркованы в огороде, между баклажанами и помидорами, под шпалерами, по которым ползет виноград, рядом с диким маком. На набережной, в нескольких метрах от нас, рычат и толкаются локтями невольники пляжа. И длинные ряды машин текут в город и из него подобно ожерелью.

* * *

Храм Меркурия, иначе именуемый храмом Эха, живет в моей душе как детская мечта, которую невозможно забыть. Впервые меня привели туда родители, постоянно водившие меня по музеям и раскопкам. С тех пор я возвращаюсь туда не реже чем раз в год. Храм находится в Байях, в конце аллеи античных терм, расположившихся вдоль стены, отделяющей Байи от Баколи, поверх которой идет улица под названием Скаландроне [34] .

Байи – это крошечное поселение вокруг маленького порта; когда попадаешь туда, видишь сперва крепость, потом круглый храм Венеры, обнесенный решетками и отделяющий порт от улицы, где ездят автомобили, а потом огромную чашу храма, возвышающегося над комплексом терм, – он стоит к путешественнику тылом.

Еще несколько лет назад на водной глади Бай красовались останки множества старых, отправленных на покой кораблей, и это придавало лазури пейзажа оттенок пронзительной печали.

Никому и в голову не приходит, что за территорией Байских терм, на которой тоже много таинственных лабиринтов, террас, где загорали древние римляне, двойных стен (чтобы сохранялся горячий воздух терм), потайных пространств, где мы играли в детстве, длинных портиков, широких лестниц, стоит храм, заполненный водой.

В храм Эха можно попасть с небольшой площадки, перед ней высится ряд арок из кирпича, и деревья вокруг стоят плотной стеной. Снаружи растет кроной вниз инжир – явление удивительное, настоящее чудо.

Этот инжир – большой, сильный, он дает много плодов, и корни его уходят в купол храма. Перевернутое дерево попадалось мне на глаза неоднократно и натолкнуло меня на идею рассказа “Икар” – я написала его вот уже двенадцать лет назад. Перевернутый инжир символизировал там гомосексуальную

любовь, которую испытывал богатый торговец к юному и вероломному римскому патрицию. Храм Эха, представляющий собой ушедший в землю купол, стал местом их первой встречи.

Теплая морская вода и крупные рыбы попадают сюда, преодолев преграду, образованную сушей, здесь два кессона, один круглый, другой квадратный, до самого заката рисуют на стенках купола причудливые, переменчивые картины. Среди заполняющей храм Эха воды есть остров – кусочек земли, на который можно попасть по железному мосту. Если сказать что-нибудь громко или спеть, все вокруг гремит.

Вместе с Розарией, которая преподает войсинг, особую дисциплину, занимающуюся использованием голоса, мы входим в храм, чтобы провести испытания: мы хотим привести сюда группу, чтобы эти люди здесь пели и записывали результаты опыта.

Внутри голоса преломляются особым образом и превращаются в мелодию, плач, рев, вой сирены, вопли гарпии, в какую-то древнюю песнь. Помню, много лет назад я смотрела фильм Франко Пьяволи “Ностос” [35], в основу которого легли многочисленные истории о возвращении Одиссея в постгомеровской литературе. Там нимфа плавала нагая, а вода, в которой она плавала, пела. Так плавала нагая Джанет Фрейм у берегов испанского острова в шедевре Джейн Кэмпбелл “Ангел за моим столом”.

Полная эротики вода этого молчаливого, дышащего влагой храма – первый, древний, отдельный от окружающего пространства путь, ведущий в Неаполь. Это место мелоса. Представляю себе удивление ученых мужей XVI века, обнаруживших в густых зарослях этот храм, сотни лет скрытый от глаз человеческих, и те бесконечные споры, которые наверняка вызвала у них находка.

Кто знает, спускались ли они также в расположенный неподалеку бассейн Мирабилис, в Баколи, – самый большой подземный резервуар воды для императорского флота, архитектура которого предвосхитила готику, пещеру миражей и потерь.

Сегодня, чтобы войти сюда, нужно спрашивать разрешения у Хранительницы ключей. На Флегрейских полях много Хранительниц ключей – пережиток тех времен, когда Управление действительно управляло, и ход раскопок под домами жителей Баколи регулировался так, словно это был чей-нибудь частный винный погребок.

Сказанное относится и к расположенной неподалеку “вилле ста комнатух” [36]. Баколи поглотил Ченто-Камерелле с его

хрупкими камнями, с множеством комнат – может, их и не сто, но, во всяком случае, несколько десятков, с выходами к морю, надписями красной краской, оставленными посетителями XVI века, и граффити сегодняшних юнцов. Ту же судьбу разделил и Бассейн императоров, вместилище тишины и эха.

В храме Меркурия и в бассейне Мирабилис Даниэле Сепе записал прекрасный диск – композиции для голоса с аккомпанементом, используя естественные усилители звука. Он называется “Потерянные жизни”.

* * *

Вода ушла из римского бассейна, а вот в храме в Байях она по-прежнему есть: там плавают большие красные рыбы и встревоженные тритоны, и голуби прилетают туда отдохнуть или умереть. Днем здесь почти никогда никого не бывает.

Крепость Бай тоже всегда пустует, несмотря на то что в ней ныне находится большой археологический музей.

В этом музее представлена реконструкция нимфея [37] Нерона, покоящегося под водой возле мыса Эпитаффио. Статуи императриц и императорских дочерей расположены вдоль бассейна из голубой светящейся пластмассы, имитирующей воду фонтанов.

У самого юного из императоров в руках мотылек, пытающийся улететь прочь, – символ жизни, меняющейся и преобразующейся, постепенно утекающей.

Крепость, вырубленная в скале над морем, по сути, соединяет воду и воздух. С 1930 по 1970 год здесь был сиротский приют для детей военных. А еще здесь я задумала и написала историю о любви и одиночестве, которое, как и само существование крепости, ведомо немногим.

* * *

Когда мне было двенадцать лет, я впервые попала с родителями на островок Сан-Мартино. В семидесятых-восьмидесятых годах я знала два разных моря. Первое, море кораллов, омывает берега Ла-Маддалены [38], а поскольку в ту пору Сардиния еще была курортом для богачей, мы попадали в эти места исключительно потому, что это родина мамы и бабушки. Второе – у Байи-Домиции [39] – мне довелось видеть еще до землетрясения, до того, как гостиницы и дома заплотонили

беженцы. Из-за темного песка и донных отложений оно казалось черным и нисколько нас не привлекало: войти в его воды было все равно что искупаться в смоле.

А между каникулами мы имели возможность наслаждаться третьим морем – нашим, домашним. Оно было близко, но не слишком, ведь в двенадцать лет дорога длиной в двадцать километров кажется бесконечной, да к тому же я всегда сидела сзади, а из машины все видно лишь кусками. Среди известных нам морей нас привлекало именно это, омывающее берега острова Сан-Мартино, на окраине Флегрейских полей. Оно представало взору неожиданно после длинного, бесконечно длинного туннеля, в который машина попадала, миновав мыс Мизено, оказавшись у подножия большой горы и изрядно попетляв вокруг нее.

Флегрейские поля – край не только подземный и огненный, но и область удивительных вод: aquae в храме Бай, вода бассейна Мирабилис, подземное озеро Аверно. Искупаться у острова Сан-Мартино было делом удивительным – и опасным. По туннелю, выдолбленному в скале немцами в военных целях, одновременно может проехать лишь одна машина, движение регулировалось светофорами на въезде и на выезде.

Когда мы оказывались в этой длинной галерее, фары освещали неровные стены из необработанного камня, казалось, что они вот-вот раздавят машину. В лучах фар мы видели лишь несколько метров впереди себя, нас охватывала тревога, казалось, что не хватает воздуха, мы с нетерпением ждали, когда снова окажемся под открытым небом, но лишь на середине дороги вдали появлялась малюсенькая голубая точка, указывавшая выход наружу. А едва выехав из туннеля, с его холодом и влажностью, благодатными в летнюю жару, мы оказывались на мостике, соединяющем гору с островом, под ослепительными лучами солнца. Мостик нам, девочкам, тоже казался опасным, ведь он со скрипом раскачивался под тяжестью машины.

Однако по прибытии на остров мы получали щедрую компенсацию: нашим глазам открывались все острова залива, флегрейское побережье, открытое море, образуя чудесную панораму, а воды здесь были неожиданно глубокими, и, чтобы искупаться, мы спускались по металлическим ступеням, вделанным в скалу. Сегодня, возвращаясь по субботам в места своего детства, я вижу, что там ничего не изменилось: и днем и ночью на острове царит все та же атмосфера покоя.

Для машин там установлены соломенные навесы, в сезон их огромное количество; искупаться можно, а вот найти место, чтобы позагорать, трудно. Как и прежде, машины превращаются в

импровизированные кабинки для переодевания, а в тени уютятся столики и всевозможные закусочные. Купаться можно неподалеку от въезда и около причала для лодок и яхт, рядом еще с одним маленьким туннелем, где всегда кто-то сидит с удочкой и рыбачит.

В ночное кафе на острове наши родители (в том числе и мои) приходили потанцевать. Сейчас, летом, здесь едят пиццу, наслаждаясь вечерней прохладой, пьют зеленовато-голубые коктейли, приезжают подышать свежим воздухом на этот островок, словно якорем прикрепленный мостками к берегу, отдохнуть от городской суеты, спрятаться от нее под защиту горы и черного ночного моря. Подобно всем красивым и забытым местам, этот остров не стареет, потому что уже родился древним.

Антимо Эспозито, первый владелец, вернулся из Соединенных Штатов после войны и купил гору с островом в состоянии, не имеющем ничего общего с нынешним: здесь прежде был торпедный завод, который разбомбили немцы, и до сих пор можно видеть остатки станкового пулемета. Мне всегда казалось странным купаться и загорать в бывшей зоне военных действий, но я занималась этим и на Сан-Мартино, и на Сардинии: ведь оба этих острова использовались как базы для подводных лодок. В Калабрии, например, в Сан-Никола-Арчелла, мне тоже случалось добираться до дальних пляжей по военным туннелям.

Попадая на Сан-Мартино, я, помнится, чувствовала себя словно на парящем в воздухе острове из знаменитых комиксов Готтфредсона 1937 года “Микки-Маус на небесном острове”: там остров с прекрасным садом и красивым домом, где жил профессор Энигм, угощавший своих гостей шампанским из хрустальных бокалов, в действительности оказался атомной лабораторией.

Короткий туннель, идущий через остров, тоже связан с войной.

В “Снах” Акиры Куросавы солдат слышит в заброшенном туннеле звук шагов, но людей нет: ведь он единственный выжил из целого взвода, который теперь явился навестить его.

Вот так туннели, хранящие в себе зимнюю прохладу, хранят и взрывающий тишину звук шагов наших ног, обутых в сандалии, шлепанцы, пляжные тапочки.

Кто знает, обращают ли внимание на потрясающую красоту этого места пухлые, потные неаполитанцы в наушниках, читающие “Спортивную газету”, или жеманные девицы в бикини и их мускулистые придурковатые хахали, или мальчишки с волчьими лицами и бегающими глазками, чьи плавки велики им и в ширину, и в длину.

А потом наступает ночь, с моря приходит ветер, и город исчезает, остаются только столики и лица ребят из компании, собравшейся за одним из них, женщины в легких голубых платьях, с блестящими сумочками, в косынках, чьи губы накрашены блеском, с ровным загаром, полученным зимой в соляриях, в городе. Еще остается какая-нибудь толстая мамаша из местных, нервно толкающая туда-сюда коляску со своим спящим чадом. Лица не меняются, меняются только прически и краска для волос, – и в этих лицах заметны черты сходства с лицами тех, кто приезжал сюда тридцать лет назад – родителей этих молодых людей, поедающих пиццу. Геометрические узоры, стразы, клеш, голос Пеппино ди Капри.

* * *

На обложке двойного компакт-диска “Туристико”, выпущенного клубом “Лидо Туристико”, красуется бурбонский герб, а про само заведение сказано: “A volcanic blend of funky magma, neo soul, laid back grooves and more” [40] .

Уж конечно, место, куда я пришла сегодня утром, совсем не похоже на одну из множества неаполитанских пляжных забегаловок: здесь все продумано таким образом, чтобы посетители приятно провели время в благодатной праздности – то, что по-английски характеризуется словом lounge, которое фигурирует и в названии представления, запланированного на вечер, – “Lounge Art” [41] .

Однако по прибытии на меня нахлынули воспоминания о Лидо – об утреннем Лидо, где отдыхают семьи с детьми, а мы с сестрой купаемся и злимся, что из-за волнорезов здесь везде мелко, и перед глазами встают ясные очертания Прочида и Искьи, очертания мыса Мизено, словно на открытке.

Сегодня здесь больше не осталось навесов, как в Римини, вместо них стоят зонты из дерева и меди, в тихоокеанском стиле, а в баре “Гавана” – качели и экзотические росписи с жасминами и папайей. С наступлением темноты в этом огороженном пространстве на берегу моря появляются столики, зажигаются огни, жарят на решетке рыбу и пьют вино, подают кус-кус, пахнет корицей и благовониями, которые курятся потихоньку, и потихоньку играет музыка, чтобы не мешать разговорам людей, расположившихся на подушках.

Правда, по утрам, если хорошенько присмотреться, в Лидо еще можно найти следы моих детских воспоминаний: что-то такое в лицах посетителей – группы стариков (“Мы с Виллы

Каприччо, из Дома престарелых в Каподимонте”, “Мы старые, но в нас сильно желание жить!”), мускулистых красоток, которые ощущают себя бразильянками, мальчишек с гелем на волосах, семейств с детьми. На пути продавца кокосов, парео, бус и солнечных очков встретилось непреодолимое препятствие – целый ряд песчаных замков, сооруженных из одинаковых готовых элементов при помощи ведерок, точно таких же, как те, что мы строили в детстве. Дальше шумит девичник: веселые ведьмы с фаллосами из картона бормочут вслед Антонио, фотографу, с которым я приехала:

– Раньше надо было нас фотографировать, а теперь вы и представить себе не можете, чего мы только ни повидали... – и хохочут.

Маленькая и очень шустрая массажистка-азиатка обходит пляж, разминая спины.

* * *

Встретив несколько недель назад в Вомеро Марко Дзедзу, фотографа и художника (его работы висят в метро, на линии 1, на станции “Рионе-Альто”), я не знала, что окажусь на его представлении и буду о нем писать. В общем, это ему мы обязаны тем, что под конец дня тащимся в Лидо в пробке, от Арко-Феличе до Баколи, а там нас ждет вечер искусства, организованный Сирио, а по паспорту – Сирио Скьяно Ло Морьелло. В десять часов вечера действие еще не началось; мы здороваемся, делаем несколько снимков, столики, освещенные свечками, на пляже и на террасе, постепенно погружаются во мрак. Людей пока мало, так что мы останавливаемся поболтать с Сирио, который объясняет мне за пиццей, что в Академии изящных искусств дела кипят, что существует группа, возникшая в результате весьма любопытного творческого союза (кафедры живописи и кафедры анатомии). Эта группа создает проекты и называется “Четвертая живопись”, а другая группа, именующая себя Эск, занимается реализацией этих проектов.

Представление завершится вечеринкой, в ходе которой публика вместе с артистами построит на пляже из песка вал длиной девять метров. Он говорит об эффектной фотографии с изображением огромного красного вала на фоне черно-белого мыса Мизено.

– Этого не может быть, я не верю, но буду участвовать...

Пока мы болтаем, вокруг намечается некоторое оживление: появляются компании из Академии, бывшие студенты, друзья,

просто любопытствующие.

– Когда художник выставляет свои работы не в галерее, а выносит их на суд пляжной публики, он должен раскрываться полностью, и это риск... Кроме того, ему приходится преодолевать нерешительность и робость...

* * *

И вот мы спускаемся к морю. Организованное Марко представление называется “Зимнее море”. Он сидит на маленьком помосте, сколоченном из досок, похожий на Будду, вокруг него – дневники, которых он так и не откроет, рядом стоит бутылка минеральной воды, в руке – микрофон. На помосте словосочетание “Зимнее море” выведено крупным детским почерком, а рядом приписка: “Речь о страдании”. Пространство сцены ограничено двумя светильниками. За спиной у Марко натянут холст, похожий на тряпку, на нем при помощи проектора показывают его фотографии. Идея проста: устроить небольшую конференцию на тему страдания, у моря, ночью.

– Конечно, вы спрашиваете себя, почему это я решил поговорить с вами о страдании на пляже... – начинает Марко, и зрители улыбаются. Потом, по мере того как он говорит, подыскивая слова, делая паузы, в неоновом свете, заливающим маленькую сцену и создающем эффект отстраненности, черное море делает нас внимательнее, заставляет умолкнуть.

– Есть Понт, море, которое заглатывает и рождает чудовищ, и Океан – море, дающее жизнь, – говорит Марко.

А волны разбиваются о берег, превращаясь в белые полосы, и луч маяка отражается от черной воды. На экране продолжают сменяться черно-белые фотографии, а Марко тем временем оканчивает свое короткое выступление, берет надувной матрас, весло и фонарь и направляется к берегу – а потом уплывает в черное море Милисколы. Нам видно лишь, как удаляется огонек, как Марко сражается с маленькими ночными волнами, а потом добирается до утеса, поднимается туда и машет фонариком. Затем он снова спускается в море и возвращается на берег. Это путешествие длится долго и вызывает в душе ощущение пронзительного одиночества, опасности и страдания – более сильное, чем вся его предыдущая речь. В общем, публика, собравшаяся на пляже, тронута. Некоторые беспокоятся о здоровье художника, который плывет там во мраке на каком-то жалком надувном матрасе, но друзья говорят в ответ:

– Марко? Он много лет был бойскаутом...

Я молча ухожу с берега и не только потому, что уже час ночи и хочется спать, но еще и потому, что дневное море, ночное море, запах благовоний, слова Марко и его фотографии – всем этим моя душа полна до краев.

* * *

В одиннадцать утра я сажусь в поезд линии Кумана, следующий по маршруту Монтесанто-Торрегавета, на станции Корсо Витторио-Эммануэле. Светит солнце, камни, из которых построены дома на проспекте, блестят в его лучах, стены поезда сверху донизу расписаны цветными граффити.

Линия Чиркумфлегреа связывает темное сердце исторического центра со светом и морем Флегрейских полей. В вагоне сидят старушки, какой-то синьор с тележкой для покупок, несколько студентов и парочка молодых светловолосых мормонов с лицами, какие встречаются в штате Висконсин, в синих куртках в полоску, с табличками на груди, где возносится хвала Господу Нашему. А у Фульвио замечательный пирсинг в носу, под темными очками, скрывающими его глаза; а когда он показывает язык, видно, что там тоже. Однако фотографироваться он не хочет и всячески отнекивается. Станции следуют одна за другой – Фуоригротта, Мостра, Эденландия, Аньяно, – Фульвио продолжает отбиваться, а бродячий музыкант бережно снимает с себя аккордеон; девочка Анна с большими черными глазами, которая едет вместе с ним, заметив фотоаппарат сопровождающей меня Франчески, хочет посмотреть, что на дисплее. Она с ходу понимает, что нужно делать, чтобы перелистывать фото.

– Но это же Багноли! – говорит она, с твердым “г” и ударением на “а”, так что Баньоли превращается в туристический центр где-нибудь в Румынии или маленький турецкий городок.

Анна красуется перед фотоаппаратом: пританцовывает, изображая из себя опытную соблазнительницу. Отец смотрит на нас с подозрением, потом подзывает девочку к себе. Вскоре черноглазая Анна в выцветшей майке с изображением Гарри Поттера выскальзывает из вагона.

В “Багноли” меж домов там и сям мелькает море и остатки металлургического завода, и мы выходим. У электрички здесь конечная; чтобы добраться до Торрегаветы, нужно пересесть на другой поезд.

В Баньоли Фульвио встречает свою бабушку, Джузи; несмотря на семьдесят восемь лет, в душе ей по-прежнему двадцать, она

одета в голубое платье и небесного оттенка шапочку. Джузи со смехом восклицает:

– Да убери ты этот пирсинг! Я помню, каким был твой дед: высокий, большой, ходил в море, и волосы у него были красивые, коротко стриженные, – и делает такое движение, как будто накладывает бриолин от виска к затылку, а после добавляет на неаполитанском диалекте: – Какие были мужчины! Не чета нынешним...

Остановить поток слов бабушки Джузи невозможно. Она направляется за покупками в Фуоригротту и по дороге рассказывает нам, что воевала, когда “Баньоли должен был взлететь на воздух”. Потом она позирует вместе с Фульвио, и на мгновение два поколения, столь далеких друг от друга, соприкасаются – в определенном смысле подобное происходит во всем поезде, разрисованном и раскрашенном снаружи и внутри, проезжающем мимо станций, сплошь покрытых граффити: “Я, ты, мы” на гробах с долларами, желтые цыплята с короной, “Barby I love you” [42] , “Sid hero” [43] , “Изящные танцы для друга”, мультяшные девочки со стекающими по щекам слезами.

На станции Эденландия, где расположен неаполитанский игровой парк, антиглобалистские гробики с долларами выполнены в темно-синем цвете, а капиталистические коронованные цыплята – ярко-желтые. По мере того как поезд движется дальше, постепенно обнаруживается весь кошмар окружающего пейзажа: жуткие дома, впаянные в туф, недостроенные кварталы, старые разрушенные станции, развалины, лачуги. Природа постепенно берет свое, на рельсах растет трава, в конечном счете поглощая их, с потолков туннелей свисают выюны. Среди камней и желтых весенних цветов стоят цементные столбы высоковольтных линий с расклеенными на них цирковыми афишами.

– Я призрак, – в шутку заявляет Фульвио, прежде чем сойти с поезда, но эта фраза, сказанная по поводу его попыток ускользнуть от фотоаппарата, все время всплывает у меня в голове, и ее воплощением мне кажутся лица стариков, едущих на Флегрейские поля.

Чем дальше мы едем, тем прекраснее становится пейзаж – иной раз прямо дух захватывает – и тем более печальными и унылыми кажутся лица, словно эта дорога к морю есть путь к бездействию и забвению. Весь вагон, включая стариков, похожих на гладиаторов древности, и молодежь, словно только что сошедшую с комиксов Пациенци, как будто исчезает.

Если б не обилие света вокруг, можно было бы подумать, что мы попали в рассказ Дюрренматта “Туннель”, где поезд, полный

пассажиров, исчезает в бесконечном туннеле, а машиниста нет. Гигантская черная дыра, “The last hole”, и в самом деле по иронии появляется перед нами в виде надписи на станции Кантьери, которая предшествует Арко-Феличе. А потом мы приезжаем в Лидо Наполи. Когда смотришь из окна поезда, создается впечатление, что в Лидо Наполи все наполовину разобрано, словно на съемочной площадке фильма Феллини: блеклые голубые надписи на фоне синего неба и сине-зеленого моря в сочетании с беспорядочными конструкциями из ржавого железа, выщербленные стены, заброшенные мостки. На заднем плане – Искья, Прочида, мыс Мизено, крепость Бай, мыс Эпитаффио, термы Нерона.

На мгновение в голове моей возникает вопрос: а может быть, и у меня такое же покорное и безнадежное выражение лица, как у этих старых краснокожих гладиаторов или у нелепой парочки, что сидит на сиденье рядом со мной? В Байи поезд не идет, хотя там совсем недавно построили станцию и она готова принимать гостей, нужно сойти в Лукрино и пересестись на автобус. Зато в Торрегавете поезд останавливается почти на самом пляже.

* * *

– Залезайте! Нет! Слезайте! Нет! Залезайте!

Это учительница, безуспешно сражающаяся на платформе с небольшой группой школьников среднего возраста.

– От нее мозг взрывается, – комментируют дети.

Действительно, она единственная, кто суется на этой залитой солнцем станции летним днем в середине недели, когда от моря исходит пьянящий запах волн и йода: кажется, будто это оживший таитянский пейзаж. Здесь совсем иной ритм, чем на главной станции, Монтесанто. У контролеров в руках кульки с анчоусами. На площадке перед станцией расположился “Клуб дель Пуэрто” [44], возле него стоит продавец мидий – мобильник болтается у него на шее, словно кулон на цепочке. У стоящего за стойкой Раффаэле бронзовое от загара лицо, белая шапочка бармена, из которой торчит птичье перо (картина Босха? Полудети-полуптицы Ортезе?), и белый фартук поверх майки.

– Чем я только тут не занимался! Даже спасателем побывал. Тут сильные течения, и я сказал троим мальчишкам: “Осторожно: течение”, но они ответили: “Да-да, не беспокойся, мы соображаем...”

И вот синева захватывает нас и отпускает, и это ощущение одиночества и смертельной опасности, сопряженное с морем,

возвращается, несмотря на то что на пирсе, теряющемся среди волн, загорают студенты, прогуливающие лекции, и сидит одинокий рыбак, который объясняет нам, как правильно готовить раков.

На станции с нами заговорил один из служащих:

– Наши дети здесь гости. Они платят налоги, но работают в другом месте. В Министерстве культурного наследия, поди, много дел. У моей дочери диплом по античному искусству. А заправляют тут те, кто улицы метет, но у них родственники в муниципалитете, а еще парковщики из Мизено. Планы? Их столько, но ни при левых, ни при правых ничего не сдвинулось с места. Например, здесь предполагалось расширить площадь, разбить городской сад, отодвинуть железную дорогу подальше, соорудить велосипедную дорожку вокруг озера Лукрино. Все осталось на бумаге, а молодежь тем временем уезжает...

До боли жаль поворачиваться спиной к морю и возвращаться в Неаполь, к потухшим трубам завода “СОФЕР” и надписям “КОНАД” напротив них.

В поезде направления Кумана, идущем до улицы Сивиллы, пролетающем мимо бассейна Мирабилис и Байских терм, на обратном пути полно студентов с растаманскими прическами и очками а-ля Элвис. И маленькая Анна, вместе с отцом, играющим на аккордеоне, тоже здесь – она устала, у них последнее выступление перед обедом, и Гарри Поттер с ее майки совершает последнее чудо: заставляет нас всех сойти с поезда и освободиться от воспоминаний о морской синеве.

* * *

А еще вода попадает в город по-другому: в бадьях рыночных торговцев, вместе с рыбой, выловленной на рассвете, в ведерках со льдом, от которых несет водорослями. Она проникает через замки: ведь в Неаполе замки вздымаются из воды или парят в воздухе, а вот вырастающие из земли ему неведомы. Над водой стоят Кастель-дель-Ово, масса из туфа, высящаяся над заливом, крепость-замок в Байях, красующаяся над морем, Кастель-Нуово, у стен которого причаливают корабли, хотя насыпь для волнорезов в настоящее время отделяет его от воды. Морские замки из туфа и серого камня презирают один-единственный воздушный – Сант-Эльмо, взирающий на нас на всех с холма Вомеро.

Вода проникает в замки и дворцы, но, по правде говоря, на нее никто никогда не обращает внимания. В Неаполе даже

фонтаны не работают. А настоящей воды часто не хватает: ведь, уж конечно, не из той воды Серино, что воспета поэтами, делают здесь лучший кофе в мире.

Серино, Себето. В Неаполе названия рек начинаются на “с”, но никто их никогда не видел: они с крываются. Они текут под землей. Нынче в Неаполе торгуют водой и существуют даже комитеты, добивающиеся ее освобождения. Неаполь, прячущий в недрах огонь, не может оставаться без воды: он весь высохнет. Или же под землей произойдет великая битва, эпическая война, рассказать о которой детям и внукам мы, увы, не сможем.

В общем, мы живем в морском городе. Высохшем, древнем, ушедшем на покой.

* * *

Поезд покидает английская парочка с унылыми, но раздумавшимися после путешествия к Везувия лицами, одетая, несмотря на яркое солнце, в непромокаемые грязно-зеленые плащи и такие же шапочки. Если бы они надумали попробовать “гарум”, древнеримское блюдо, зловонное рыбное варево, представленное в их путеводителе как деликатес, это место идеально подходит для того, чтобы запастись ингредиентами – нужно лишь дойти до третьего от станции перекрестка, улицы Гарибальди, или до самого рынка Порто-Нолана.

Вполне возможно, что им, привыкшим к “хаггисам”, а также ко всяким “дежурным блюдам” английской кухни (к легким, кишкам, пирожкам с подпорченным мясом), захочется попробовать это древнее кушанье из рыбы и оно даже придется им по вкусу.

Быть может, они надумают сделать это в пиццерии на площади Гарибальди, за столиком в красно-белую клетку, в полдень (или в одиннадцать тридцать), покуда расположившиеся в окрестных барах неаполитанцы (чуть не сказала: африканцы) пьют свою черную кофейную бурду. Гарум – блюдо, имеющее в первую очередь познавательное значение. Тут уместен был бы зловещий трактирщик, вроде Нино Манфреди из фильма “Отвратительные, грязные, злые”, который подаст пасту или пиццу с гарумом и будет заставлять есть ее, есть, есть... Рецепт гарума: измельчить и смешать на разделочной доске скумбрию, сардины и анчоусы и оставить все это на ночь настаиваться. Потом взять пряные травы – тимьян, фенхель, шалфей, перечную мяту, орегано, – мелко нарезать и поместить полученную смесь в сосуд с деревянной или пробковой крышкой, а потом открыть и

дать постоять несколько месяцев в солнечном месте. Эту забродившую жидкость использовать в качестве соуса к блюду.

Но, к счастью, в наше время у рыбы иные пути, иные способы приготовления, иные дороги – не менее древние, но менее кислые, – и настоящее царство ее вот уже лет сто пятьдесят находится в Порта-Нолане. В семьях владельцев лавок и забегаловок дело передается по наследству из рук в руки. Если бы в Античности существовала железная дорога Чиркумвезувиана, Петроний конечно же именно сюда посылал бы своего слугу за ингредиентами для гарума: самый лучший делали в Помпеях; вместе с ним сюда ехали бы студенты, бомжи, тетки с полными сумками продуктов, няни-украинки, коммивояжеры, всякие проходимцы без имени, но с мобильными телефонами, и электричка высаживала бы его непосредственно перед двумя башнями красивых городских ворот XV века. “Порта-Форчилленсис” изначально располагались в квартале Форчелла, а потом арагонцы перенесли их туда, где они находятся и по сей день, а название “Ноланских ворот”, “Порта-Нолана”, они получили потому, что отсюда идет дорога в Нолу, считается, что там изображен Фердинанд I Неаполитанский.

Две башни – отнюдь не нью-йоркские, и не те, что у Толкиена, – именуются Феде (Вера) и Сперанца (Надежда), год возведения – 1555. Башня Феде испещрена квартирами и прочими помещениями, как сыр эмменталь – дырками. Одно из таких помещений представляет собой магазинчик в античном стиле, а в соответствии с единственным постоянно действующим в Неаполе правилом – “помещения не должны простаивать” – в квартире над аркой проделали окно прямо рядом с беднягой Фердинандом. А на Сперанце-надежде растет трава, но ведь известно, что она, то есть надежда, умирает последней, – как и трава, правда сорная.

В общем, это оборонительное сооружение, этот оплот городской границы со временем превратился в эдакие ворота в частном пользовании, в царство дешевой рыбы: от улицы Карминьяно до улицы Сопраммура и до самой Порта-Ноланы нас заманивают разнообразные вывески: “Честный”, “Девчонки”, “Братья-рыбаки”, “Прекрасная умбрийка”, “Паскуале и крестьянка”, “Морская звезда”, “Непорочная дева”. А продают там зубана, скумбрию, щуку, раков, осетра, морского карася, скорпену, пеламиду, мурену, раков-богомолов, осьминогов, султанку, ромба и камбалу. А еще всякую мелкую рыбешку, каракатиц, скатов, сардины, анчоусы, тунца и кальмаров. Не говоря уже о мидиях, устрицах, морских гребешках, морских финиках, теллинах и других моллюсках, морских ежах, смариде и многих других, которых не называю здесь ввиду недостаточных

познаний в ихтиологии.

Покупая что-либо здесь – что случается со мной лишь по праздникам, в отличие от синьор, толкающих меня локтями и сокрушающихся по поводу цен, – я демонстрирую идиотизм неаполитанки нового поколения, привыкшего есть на ходу и покупать куриные полуфабрикаты, а в перспективе неизбежно приходящего к вегетарианству. Короче говоря, я ограничиваюсь лишь покупкой самого необходимого: осьминоги, раки, анчоусы, морские гребешки, лаврак.

А тут полным ходом идет самое настоящее морское празднество, словно на помпейских мозаиках из Археологического музея, изображающих жителей долины Нила, с удочками, бегемотами и крокодилами. Запах жареного кальмара преследует меня и сражает наповал: я уже испытываю настоящий голод.

А помимо торговцев рыбой меж лавок и переулков, стен и лотков, палаток, среди тентов, развевающихся, словно паруса на ветру, приютились продавцы фруктов и овощей. Кто-то каждый день пополняет здесь продуктовые запасы, а кто-то приходит поглазеть, ведь сюда наведываются и “большие люди”: политики тут набирают себе популярности, министры и главы государства любят прогуляться по “истинному Неаполю” (ох уж эта истина!), да и вообще смешение социальных слоев, обычаев, голосов и одежд дает хорошую картину всей нации.

Моя британская парочка, разумеется, потерялась в этой толчее и отправилась ночевать в гостиницу с включенным в стоимость номера завтраком, которыми нынче кишмя кишит Неаполь. Вероятно, в своем путеводителе они прочли, что во время мятежа Мазаньелло восставшие разрушили тюрьму, куда людей заключали, чтобы стрясти с них налог на муку – один из самых ненавистных в народе. Оглядываясь вокруг, они видят лишь бедняков, которые громко кричат и гримасничают, но они приняли меры предосторожности: никаких фотоаппаратов, никаких кошельков – только скромные часы на волосатой руке мужа.

Они не станут ничего покупать, эти англичане, – но лишь потому, что не знают, как это приготовить.

Я вплавь пробираюсь через лужи, ручейки, бадьи с водой и зелеными пластиковыми трубочками, шлю привет омарам, ошалело ползущим куда-то, и отправляюсь на станцию. Достаточно добраться до вокзальной площади – и криков уже не слышно, и запах рыбы отступает: здесь уже царствуют мороженое в рожках и “Нутелла”. Здесь армированное резиновое покрытие, на котором топчутся чемоданы, объявления об отходящих

поездах, запах машинного масла, фыркание бегущих людей, продавцы газет, “Макдоналдсы”. “Что здесь делает “Макдоналдс”?” – спрашивает Тициано Скарпа в книге “Камикадзе с Запада” и отправляется туда поесть.

И вот исчезает мозаика с грудами нильской рыбы, голос Петрония сливается с голосом синьорины, объявляющей об опоздании электрички до Сапри, моря, едва замаячившего перед нами на горизонте, уже не видно, а над путями возникают башни административного центра. И башни эти ничуть не похожи на арагонские, они приводят на ум Японию и тем самым – опять-таки рыбу. Может, суши или сашими – не знаю.

* * *

В одном из уголков предместья Сант-Антонио-Абате старушка в фартуке, закрывающем плечи и живот, в шерстяной шапочке, отдаленно напоминающей чепчик, открыла пиццерию: миска с небольшим количеством муки, смесь шкварок и рикотты, тарелка с томатным соусом и бутылка масла.

Тесто для пиццы, домашнее, неровное, раскатывается на деревянной доске, потрескавшейся и обломанной. А еще в каком-то большом чане что-то кипит и жарится, но из-за шума непонятно, что именно, а разглядеть не получается. Рядом со старушкой хлопочет помощница, тоже в годах, энтузиазма у нее гораздо меньше, и сразу становится ясно, что это прислужница, не более того, – она неизвестно зачем режет какие-то тряпки.

Все предместье Сант-Антонио пересекает одна длинная улица – Сант-Антонио-Абате, начинающаяся от площади Сант-Антонио. С XVII века здесь располагается рынок Буваро.

Буваро изображали в своих произведениях художники и писатели, он и поныне сохраняет прежнюю прелесть, представляя собой воплощение достойной бедности и безыскусной живости, хотя здесь и много туристов, особенно иностранных. Часто попадаются группы белокожих светловолосых голландцев, беззаботно прогуливающих по кварталу, и они тут не чужие: в Неаполе в XV–XVIII веках обитало множество художников из страны дамб, а также шоколадных дел мастеров; или же стайки англичан, в поисках диккенсовского измерения в Неаполе.

Этот сектор Неаполя, протянувшийся между Порта-Капуаной и Порта-Ноланой, немного смахивает на Палермо, хотя для полного сходства со столицей Сицилии здесь не хватает черного, похоронного рококо. А еще тут нет того округлого, одомашненного, опрощенного и известного на весь мир барокко,

которым отличается Сан-Грегорио-Армено. Никаких водяных насосов для вертепов, никаких поваров, скачущих верхом на ромбабах, никаких премьер-министров и политиков, уменьшенных до размеров пасторальных фигурок. Сейчас здесь обычный рынок, и о том, что в XVIII веке он славился как место торговли птицами, напоминает лишь допотопная лавка с немногочисленными клетками.

Короче говоря, из области земли и неба Буваро превратился в край воды: сегодня, накануне Нового года, в продаже имеются французские устрицы – “Huîtres de France” написано на деревянных ящиках, – а рядом выстроились бутылки спуманте [45] .

Никто из лихорадочной толпы, стремящейся протиснуться с площади Сант-Антонио по улице Сант-Антонио-Абате, не покупает ни устриц, ни шампанского. Здесь также продаются моллюски, стоят вместительные контейнеры с морскими цикадами, находящимися на последнем издыхании. Угри [46] , большие и маленькие, и пластиковые шумовки, при помощи которых их вынимают из бочки и показывают покупателям, после чего они снова плюхаются в “чистейшую морскую воду”, – подчеркивает торговка в скандинавском капюшоне с помпоном и косичками из белой шерсти.

Дети резвятся, пытаются голыми руками достать этих уже практически снулых угрей. И, несмотря на громкую, резкую музыку, от которой вздрагивают продавцы, окружающая их толпа кажется веселой, умиротворенной и какой-то фольклорной.

Церкви, распахнувшие свои двери над чанами с рыбой, тоже веселы, несмотря на очевидный упадок; они похожи на улыбающихся беззубых старух: на месте каждого выпавшего зуба открывается ход в черноту нефа.

Полуразрушенные дома на улице, старинные особняки, перекрашенные и пребывающие в запустении, бетонная стена, выросшая для защиты прохожих в ожидании падения, которому не суждено свершиться, – а в стене между тем уже сделали проем, чтобы организовать стоянку, и через него видно голубое небо этого ясного, но ветреного дня.

Здесь же, среди шампанского, устриц, морских гребешков и цикад, угрей и анчоусов, продается оптом детское белье. Детей множество: годовалых, двухлетних, трехлетних, заделанных в видах борьбы с демографическим кризисом в Италии; это братья и сестры светловолосой девочки со скучающим видом, которая привычными движениями выуживает угрей из чана, а разверстая пасть рынка тем временем заглатывает людей – небольшими группами, гроздьями, целыми кучами.

Еще здесь есть прилавки с требухой и внутренностями, целое огромное легкое выставлено на всеобщее обозрение, прежде чем его нарежут на кусочки, а груда лимонов дожидается, покуда их выжмут на сырое или приготовленное мясо. Где дует ветер, там голоса звучат тише и косо раскачиваются голубые пластиковые “панарьелли” [47] .

Сюда частенько, особенно в период выборов, заглядывают известные политики и публичные персоны: рынок предусматривает рекламу, на него приходят охотиться за истинно неаполитанским типажом, за подлинным городским колоритом. Продавцы, улыбающиеся клиентам и прямо-таки танцующие за своими прилавками, скорбные лица тех, кто покупает “маленький пучочек ровно для супа”, то есть половинку, – или даже “сенгу”, то есть полосочку, – морковки, пучочек фенхеля, один сельдерей, одну луковицу, четверть тыквы и маленькую чашечку оливок. Тут полно воров, и бдительные продавцы ставят тележки так, чтобы предотвратить покушения на свой товар.

Раньше сюда приходили, чтобы благословить животных, а свиной жир использовался для лечения болезней кожи. А сегодня – вон там с балконов снимают белье, а там неровные края домов из туфа и кусочек неба. А рядом стоит чан с плавающими в темной воде перцами для рождественского салата. Здесь обитают наследники семей, державших эти лавки во времена Гарибальди. Эта водяная улица Неаполя по-прежнему живет своей жизнью, подобно меленькой речке, продолжающей струиться там, где недавно спилили лес.

* * *

Там, где течет вода, течет также и время.

Часы, служащие для его измерения, могут быть подделками или хорошими имитациями, как, например, “Иль Темпо”. А где есть часы и вода, там есть и зеркала, и стекла – в общем, очки. Их тоже можно купить – хорошие или второсортные.

В переулках возле улицы Дукеска, на улице Маддалены, на улице Фаццини и на петле, которую образует улица Санта-Кандида вокруг старинной церкви Сан-Пьетро-ад-Арам, продают очки, часы и многое другое. Сюдаходишь с опаской, как будто ждешь, что тебя надуют, обкрадут, тщательно осматриваешь коробочку: действительно ли покупка на месте. Из-за дождей вода ручьями течет вокруг скамеек, тут настоящее болото, оно встречает людей прямо у станции, и дальше они плывут к корсо Умберто, к университету. Между Борго-Орефичи, старинным

кварталом ювелиров, над которым возвышается огромное распятие, и Дукеской ежедневно несется поток людей, приезжающих из провинции на работу в центр города. Вокруг в основном арабские и африканские рестораны, рынки, где торгуют марокканцы, славяне, азиаты. Здесь отличный многонациональный рынок, функционирующий с разрешения местных властей.

На улице Маддалены один из китайских магазинов, белый, аккуратный, с четырьмя витринами, где ряды продуктов расположены по строгой системе, являет собой яркий контраст с неопрятным видом лотков.

В ларьках Дукески товар почти никогда не выкладывается на витрину, возможно, из опасения, что его унесет вода. За туфлями лежат светильники, за светильниками – абажуры и весы, еще дальше – радиоприемники и фотоаппараты.

В передвижной палатке с громадным красным спрутом, потеющим за стеклом в обществе двух белоснежных чашек с капучино и огромной дымящейся кастрюли, продают редкий ныне бульон из осьминога. Об этом извещают ядовито-красные буквы на фоне лазурного моря. Несколько человек стоят поблизости, разговаривают, но спокойно, без ажиотажа. Легким движением руки из кармана вынимаются банкноты в пятьдесят евро и передаются соседу. Сколько ни приближайся к этой группе – оказаться рядом с ними невозможно. Существует какая-то незримая естественная преграда. Деньги, торопливые рукопожатия, никакой театральности – вовсе не так, как вокруг палатки, где играют в “три карты” у проспекта Новара: там несколько дурачков, готовых все спустить, разыгрывают с хозяином своеобразный спектакль. А здесь тишина, деньги передаются из рук в руки, лица остаются непроницаемыми.

В центре группы газует и буксует мотоцикл, но не двигается с места.

А на задах церкви Сан-Пьетро-ад-Арам, там, где серая муть непогожего дня несколько компенсируется цветными пятнами тканей, античные лица стариков гармонируют с узорчатыми капителями желто-белых пилястр церковной абсиды. Здесь продаются очки, в огромном количестве и самые разные – очки в металлических футлярах в виде авторучки, узкие очки для дальнотзорных в изящных оправках из цветного пластика, толстые линзы в металлических оправках. А вот преображающие пространство линзы из “Плача щегла” Анны Марии Ортезе, линзы герцога-алхимика, превращающие далекое в близкое. Вероятно, именно такие использовал Атанасиус Кирхер для своего проектора, благодаря которому блохи казались огромными, как

динозавры. На аптеке, расположенной напротив, вывеска по-немецки “Apotheke”, и на безупречно чистом прилавке выставлены очки для итальянцев и для иностранцев. Но только здесь, на столиках, на время явившихся на свет из узкого чрева черных домов, из подъездов, двери которых закрываются с трудом, из магазинов, чьи витрины завалены беспорядочными грудями товаров, можно обнаружить очки для глаз Неаполя.

В аномальном теле города глазные яблоки находятся в животе – гроздь глаз в стилистике Бунюэля.

Зрение продается, и время тоже – часы Картье, часы Булова, японские часы, браслеты из симилора, запасные ремешки из кожи, картона, пластика, раскрашенные, с дизайнерским рисунком, прессованные.

За церковь – праздничный вихрь: изображения Папы Пия в стиле поп-арт, на панно из жидких кристаллов цвета морской волны, образующих светящиеся водовороты вокруг лица святого, а также резиновые тираннозавры и велоцирапторы, кожаные пиджаки и “добротные” пальто по смешным ценам, лампы, отвертки, клещи и пинцеты.

Еще здесь процветают продавцы грыжевых бандажей – ввиду близости больницы Аннунциаты и, чуть дальше, старой поликлиники. Их блестящие латунные таблички контрастируют с печальной разрухой и внешним запустением зала Бинго, облюбованного мафией и занимающего одну из сторон Дукески.

Очень может быть, что в этом внутреннем порту города, огромном складе старых и новых вещей, полезных и бесполезных, обнаружится и лавка торговца костями вроде того, что изображен у Диккенса в “Нашем общем друге”, – склад запчастей тела Неаполя: костылей, протезов, инвалидных кресел...

* * *

Наконец, вода присутствует и в топонимах нашего морского города. Название порта Беверелло, откуда отходят корабли на Сицилию, катера до островов и большие круизные лайнеры, происходит от латинского *bibirellum* [48] – из-за воды, струившейся с холма в залив. По Кавоне [49], дороге, соединяющей улицу Сальватора Розы с площадью Данте, крутой, клинообразной, действительно когда-то стремился вниз поток.

В Лавинайо, районе, пользующемся дурной славой, прежде было место сбора дождевой воды (‘e llave [50]). Улица Медзоканноне на первый взгляд не связана с водой, но на деле название ее происходит от арагонского фонтана: слово “cannone”

означало трубку, по которой подавалась вода.

Улицы, где чесали шерсть, улицы шелка и шелковичных червей, средневековые улицы ткачей – там везде тоже текла вода, в которой стирали ткани. Узкие закоулки, куда сливали нечистоты и выкидывали мусор, а иной раз просто объедки (переулок Тоццолле назван так от слова *tozzi* – куски черствого хлеба, которые сюда выбрасывали), омывались дождевой водой или той, что выплескивали из ведер. А отголоски слова “море” и наименований его многочисленных обитателей сохранились в названиях других улиц, например переулок Тофа означает “переулок дырявой раковины”. И этот список можно продолжить.

* * *

Однако на улице Караччоло все пути воды пресекаются. Здесь начинается Тирренское море. Дождевая вода, которой богат город, термальные воды, жидкие отходы рынков, городская канализация, подземные реки – все это стекается сюда и здесь останавливается.

На берегу моря по воскресеньям город пытается свершить старинный обряд прощания с мореплавателями. Горизонт перестал быть бесконечным, но оттуда, из порта, по-прежнему отправляются в путь.

Рабы джоггинга в гетрах и спортивных шапочках, совершающие пробежки от Мерджеллины до Кастель-дель-Ово и заскакивающие по пути в окрестные бары за напитками, восполняющими дефицит минеральных веществ в организме, тоже отправились бы в плавание, если б могли.

И семейства, прогуливающиеся по центру и покупающие мороженое. И мальчишки на скейтах. Рыбаки, которые продают ракушки рядом со своими лодками, уходят в плавание, но возвращаются.

Ближе к закату в любую погоду неаполитанцы целыми семьями спускаются к порту Беверелло, чтобы поглазеть на отплывающие корабли “Косты” или “Гримальди” [51], похожие на пришвартованные к берегу небоскребы. Когда они стоят в порту, кажется, что они превосходят размером Кастель-Нуово. Зеваки приходят на пристань, туда, где отдают швартовы, и смотрят, как эти тридцатипятиэтажные громады с каютами, барами, ресторанами, дискотеками и бассейнами медленно удаляются от берега.

Корабль усеян огоньками, словно торт свечками, на фоне неба цвета индиго, и на борту у зрителей нет ни друзей, ни

родственников.

Неаполитанцы приходят туда, чтобы засвидетельствовать свое почтение – но не тем, кто отправляется в путь, а самому стремлению в него пуститься, и страху перед ним, и самому пути, когда остается только смотреть на море с борта корабля.

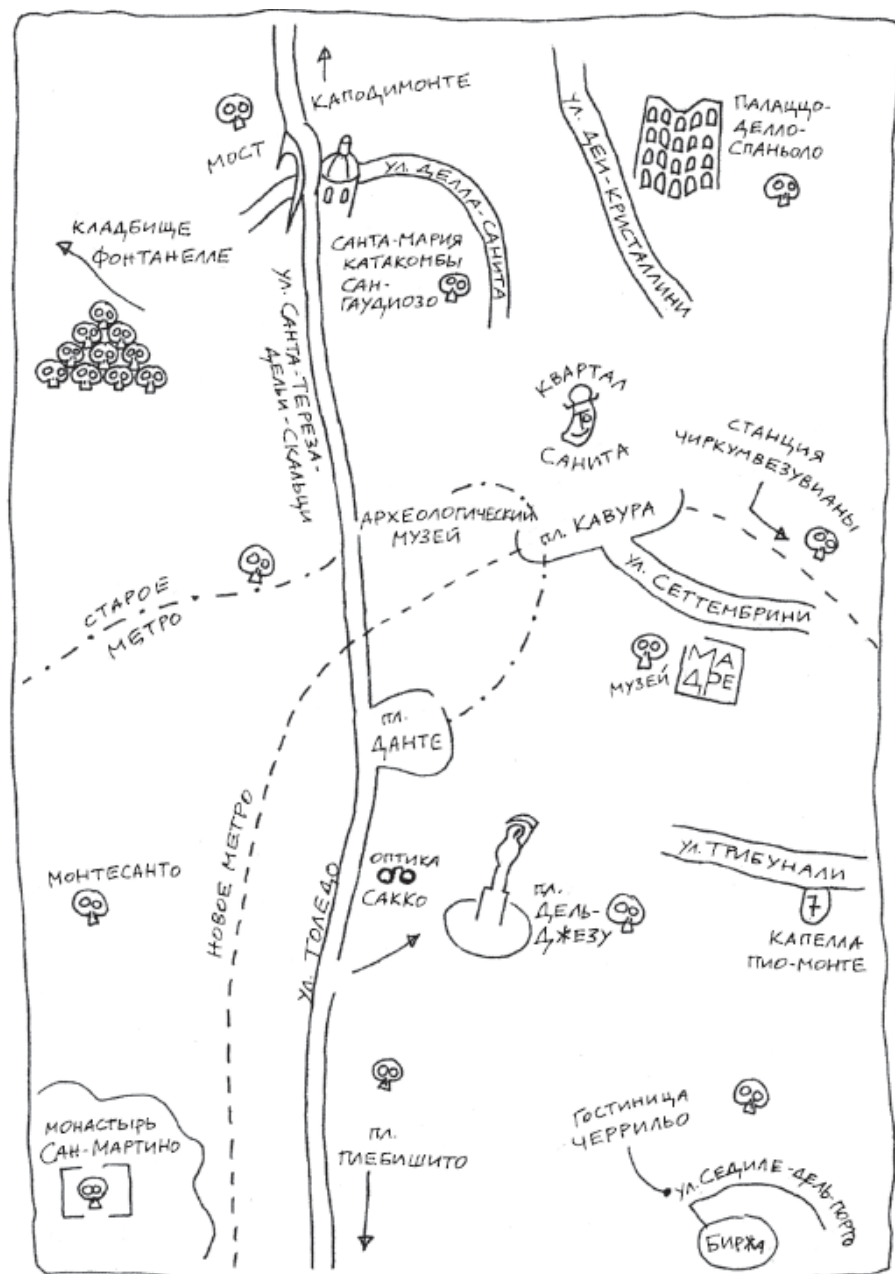
* * *

Городские пристани вдруг начинают казаться мне морской пастью Неаполя, его челюстными костями – наверное, по созвучию [52] . Гипотетически в ходе будущих археологических раскопок может выясниться, что порт Мерджеллины, порт Беверелло и множество других портов в Монте-ди-Прочида, в Байях, в Поццуоли, образуют собой нечто вроде окаменелых останков челюсти динозавра, покоящейся в воде. Еще одна граница жидкости – кости. Однако и в костях тоже есть жидкость. Например спинномозговая – в человеческом теле она желтая. А какого цвета спинной мозг Неаполя?

Наконец, именно там, где городу пристало бы проявить дружелюбие и открытость, возникли охранные сооружения и ограды: территорию вокруг американского посольства на улице Караччоло, разместившегося в особняке сороковых годов, постоянно патрулируют военные джипы, а городской парк, некогда открытый, полный воздуха и света, нынче из соображений безопасности обнесен латунными решетками, похожими на тюремные.

Неаполь живет на осадном положении и страдает от него, всерьез не выказывая протеста. Залив – это закрытое море: как писал Раффеле Ла Каприа, в этом виноваты Соррентийский полуостров и Искья, из-за которых море кажется островом.

Здесь оканчиваются алхимические воды Неаполя и начинаются метаморфозы – в том мире, от которого Неаполь зачастую оказывается отрезанным.



На улице Седиле-ди-Порто еще сохранилась маленькая гостиница, где иногда останавливаются компании приезжих из Эмилии, и это значит, что пространство между переулком

Черрильо и садами маленькой площади, за зданием Биржи, которой в XVII веке еще не существовало, по-прежнему может дать пристанище путешественникам.

Кажется, эта гостиница называется “Нептун”, и это вполне сочетается с морской ракушкой на шляпе путешественника. Конечно, ракушка – символ того, что путешественник держит путь в Сантьяго-де-Компостела [54] , с бесконечным количеством остановок от Италии до Франции, до Испании и даже дальше. Однако в данный момент он находится в Неаполе, и, если сегодня он заглянет в переулок за площадью Биржи, по-видимому изображенный на “Семи деяниях милосердия” Караваджо, он не сочтет неподобающим остановиться в гостинице, названной в честь одного из морских божеств.

В самом деле, ракушка – единственный символ моря на этой картине, заказанной в морском городе, действие которой разворачивается на одной из его улиц, куда не проникает свет и откуда моря не видно.

Зато там есть добрый самаритянин, молодой дворянин, совсем мальчик, с плюмажем и кружевными манжетами, в кожаных перчатках. Он отдает свой ярко-красный плащ нагому, распростертому у его ног, но это лишь уловка художника, потому что плащ представляет собой просто кусок ткани и больше похож на занавес, который комедианты снимают по окончании представления.

Нагой весь состоит из одной спины, а у дворянина лошадиная икра, белеющая столь же ярко, как и фигура человека, принимающего от него благодеяние. Но вопрос вот в чем: кому принадлежит ухо, торчащее позади головы дворянина? Тела не видно, оно скрыто во мраке, это ухо здесь, грубо говоря, как не пришей кобыле хвост.

А корпулентный синьор слева – очевидно, хозяин постоянного двора, тычущий пальцем куда-то за пределы картины, показывающий паломнику с ракушкой место для ночлега – не гостиницу ли “Нептун” имеет он в виду? Этот палец совсем не похож на перст Иоанна Крестителя у Леонардо, поднятый к небу, или указующий перст Христа на множестве картин разных эпох. Это обычный палец, каким ковыряют в носу и прочих дырках, называть которые вслух неприлично, таким фаршируется праздничный гусь и делается углубление в муке, куда выливают дюжину яиц в ходе приготовления пастьеры. Этот палец указывает на земное и жизненное, а те указывали в небеса. Однако у них есть одна общая черта: они устремлены в невидимое, ведь как неба, на которое указывают святые и пророки, нет на картинах, так и здесь не видно ни гостиницы, ни

постоялого двора, ни улицы, ни дороги, которая вела бы в неизвестное, лежащее за пределами картины.

* * *

А вот за спинами этих персонажей, чуть дальше, разворачивается настоящая трагедия: труп виден лишь отчасти – только ступни, как в фильме “Неприятности с Гарри”, поставленном Альфредом Хичкоком, который, выводя на первый план эту деталь, наверняка вспоминал ноги Христа на картине Мантеньи, длинные, голубоватые, окоченевшие, или ноги многих других мертвецов в изобразительном искусстве. А вот в комедии все пытаются каким-то образом избавиться от тела, потому что считают себя виновными в его смерти: покинутая жена, наивный охотник, художник. На картине Караваджо ноги еще не совсем безжизненные, персонаж умер в этот день – может, от эпидемии, от холеры, может, убили – кто знает? – человек, который тащит грязную тряпку, играющую роль гроба, просто делает свою работу. И вероятно, труп очень грязен, если даже священник, на заднем плане, поднимает в руке факел, смахивающий на толстую новогоднюю свечу, при этом одной рукой придерживая полу одежды, чтоб она не коснулась мертвеца. Тем не менее перед нами занавес, на котором держится сцена, – белая ряса или ночная рубашка: священника разбудили среди ночи, потому что убили какую-то большую шишку, или потому, что бедняк отбросил коньки после длительной агонии. Он читает молитву – рот полуоткрыт, глаза опущены, – но церемония будет краткой, очень краткой: удар ножа на улице, труп отправляется в мертвецкую, дом поспешно очищают от следов чумы, родственники выбираются из подвала, наложив в штаны от ужаса перед болезнью и, возможно, уже зараженные.

Кто знает: может, этот мертвец имеет какое-то отношение к матроне, изображенной на переднем плане картины, справа, возле тюрьмы, у грязного окна с решетками, откуда тянется к ней старик и сосет ее грудь. Накормить голодных, навестить заключенных. Эдакое сочетание крайностей, и Сусанна, которая совсем не похожа на Сусанну, обычно имеющую дело со старцами у других авторов.

Те – пышные, нежные блондинки, сливочные Сусанны с красивыми ротиками, в белых одеждах, на фоне алых и яркосиних драпировок. А эта – вульгарная, с широко открытым ртом. Такая могла бы разозлиться на хозяина постоялого двора за то, что он отбил у нее клиента, послав паломника в гостиницу

“Нептун”, а не к ней: она сдает комнаты в доме на площади и не стала ввязываться в соперничество лишь потому, что у нее на данный момент сиська занята; однако она потихоньку вытягивает ее изо рта арестанта – и до свиданья, она бросает этого слюнявого, сального старика, заглатывающего ее молоко, стоять у окна, а сама, с болтающейся наружу сиськой, бежит догонять паломника, чтобы устроить ему взбучку: да как ты мог уйти в эту чертову гостиницу, когда у меня самые лучшие комнаты в городе?!

Но покуда она еще стоит там, перед тюрьмой, одежда у нее не алая, не ярко-синяя, как уже говорилось, а желто-коричневая, грязного оттенка, она сливается с чернотой ночного переулочка и оказывается последним, передним занавесом на этой сцене, в этом веерном и шумном театре.

* * *

Даже у ангелов, свесивших вниз голову и рискующих сверзиться на мостовую, крылья как у голубей, и если кто-нибудь подстрелит их, у него будет дичь, которой он сможет подкрепиться сегодня вечером.

У них лица – как у детей этой матроны: один – еще пухленький малыш, у другого круги под глазами от голода, от усталости, от недостатка света, от тоски и от жизни, в которой нет места надежде на большие перемены. Их крылья в темноте бьются и шумят, как у птиц, помещенных в клетку и пытающихся выбраться из нее. Они, эти ангелы, спустились к людям, чтобы помогать и прощать, но выглядят так, словно упали с одного из балконов Черрильо: карабкались по перилам, но те сломались – и вот упали, падают, и неизвестно, поймает ли их кто-нибудь, потому что в противном случае они переломают себе кости.

* * *

И завершает полотно Караваджо образ Мадонны. В Пиомонте, где картина находится по сей день, за нее щедро заплатили, ожидая чего-то более канонического, более святого. Там, конечно, не отвергли получившееся произведение: в Неаполе, как известно, творения Караваджо не встречали тех суровых моралистических отповедей, какие выпадали на их долю в других городах. Даже доминиканцы приняли “Бичевание Христа”, с кучей уродливых рож, с печальным Христом, с

колонной, скрытой в непристойной тьме, и не стали возмущаться.

Однако в Пио-Монте выставили небольшое требование: коль скоро “Семь деяний” получились такими, пусть на них, по крайней мере, фигурирует Мадонна Милосердная, хотя бы где-нибудь в уголке, с краю.

И Караваджо поместил ее туда, сверху, над всем остальным, на верхнем ярусе, – волосы у нее уложены наскоро, не прикрыты накидкой, лишь ленточка чуть выше пробора, она похожа на крестьянку или на служанку в своем коричневом пальто, в каком ходят зимой, в сырость. В общем, эта служанка глядит вниз, в отвратительный переулок, щеки ее немного покраснелись от недоедания, на лице – выражение терпения. Как у человека, которому много пришлось в жизни вынести: беды, унижения, утраты, расставания и смерти – и который вследствие этого все понимает, хотя и мало что может поделать. На руках у нее младенец, он кажется еще одним маленьким ангелом, но это светловолосый Христос, довольно-таки изящный, быть может, ребенок хозяйки. Он единственный едва заметно улыбается скорбной сцене, запечатленной художником, – может, потому, что еще слишком мал и ничего не понимает.

Тяжелые времена с привкусом металла – из него сделано точное оружие дворянина, который, даже будучи добрым самаритянином, знает, что нужно защищаться: лезвие, разрезающее плащ надвое, грозно сверкает, и впечатление опасности, исходящее от него, нисколько не смягчается тем обстоятельством, что он выполняет доброе дело. Это год эпидемии в Венеции, а спустя пятьдесят лет ужасная эпидемия случится в самом Неаполе, и город опустеет, потеряет своих жителей и художников. Отец Караваджо, Фермо, умер от чумы, и мать его, Лючия, скончалась от той же самой болезни – по удивительному совпадению, быть может не случайному, они не только подарили жизнь живописцу чумы, но и поделились своими именами с пережившими чуму героями Мандзони, (в первой редакции, где Фермо еще не превратился в Ренцо).

В тот год погибает Рануччо Томмазони, и Караваджо, обвиненный в убийстве, бежит в Неаполь. “Семь деяний”, блистающие в полумраке на улице, расположенной поблизости от того переулочка, где были задуманы и где спустя три года художник чудом избежит смерти от рук мальтийских наемников, – это искупление, портрет, театр, обвинение, смятение, уныние, стремительность, переход, голод и смерть. Немного найдется картин, столь точно характеризующих Неаполь и душу, которая на тот момент в нем обитала.

Так что, можно сказать, гений художника заключается в том,

что он умел не быть педантом и создать творение, где собственно деяния милосердия едва заметны. В этом произведении нет спасения и нет приюта. Ну разве что тот приют, какой путник может получить в “Нептуне”, на улице Седиле-ди-Порто.

* * *

В окрестностях Санта-Мария-делла-Санита воздух полон арией Царицы ночи [55] . Рядом – улица Деи-Кристаллини, где сохранились римские катакомбы; благодаря своему названию, которое все целиком – преломление света, блестящие обломки, падающие на землю, она всегда напоминала мне о самых высоких нотах из партии коварной Царицы.

Подумать только: когда-то эта церковь была одной из самых красивых в городе и располагалась на просторной территории, принадлежавшей церкви. Потом пришел Мюрат, велел построить мост Санита, и монастырь вместе с прилегающими территориями ушел в прошлое. Весь квартал, по одному названию которого можно было судить о том, с какой целью он был создан [56] , превратился в кладбище. Тем не менее нет квартала более жизнерадостного и веселого, чем Санита. Однако вот уже три века здесь не ведутся работы по реставрации и реконструкции. Даже в Квартъери-Спаньоли они шли, а в Санита – никогда или почти никогда.

Если пройти через квартал Санита по улице Фонтанелле, мы придем к кладбищу Фонтанелле, к общему захоронению умерших от чумы, где, как говорят, покоится также прах Леопарди, несколько лет прожившего на улице Санта-Тереза-дельи-Скальци, являющейся естественным продолжением моста Санита. Что этот мост несет зло месту, в котором расположен, подтверждается одним символическим явлением: с него часто прыгали вниз самоубийцы. Властям даже пришлось оградить его решетками, которые стоят там до сих пор, – об этом писал Густав Херлинг.

В квартале Санита родился Тото. На улице Санта-Тереза, в квартире по соседству с домом Леопарди, во время войны жила семья моего отца. Двор примыкал к Археологическому музею, в окне даже удавалось разглядеть самую большую из сохранившихся античных мозаик, “Битву при Иссе”. Я снова случайно оказалась там по заданию газеты, вошла в старый магазинчик шляп и одежды и вспомнила, что мои бабушка с дедушкой часто туда заходили. Сестра хозяина давала моему отцу частные уроки английского. Они живут в той же квартире, где жила после войны семья Чиленто. Я выглядываю из подъезда:

“Битвы при Иссе” не видно, зато виден тот сад, откуда мой отец смотрел на “Битву при Иссе”. Забавно, как мы приближаемся и удаляемся от предметов и мест: игра линз, уменьшительных и увеличительных.

Старый магазинчик шляп, сад, где играл мой отец, Леопарди, линзы, которые приближают и отдаляют... Неподалеку от улицы Санта-Тереза, на улице Капители, расположен самый старый в Италии магазин оптики, “Оптика Сакко”. Всю жизнь я заказывала и переделывала себе очки в этом заведении, а до меня – моя бабушка, мой отец и мои дяди. Какие очки, какие линзы нужны, чтобы видеть наш город?

Очки из знаменитого рассказа Ортезе “Пара очков” виноваты в том, что я занялась писательством. Я, как резинка, растягиваюсь почти до площади Дель-Джезу, но потом снова устремляюсь в Санита. Улицы под мостом широкие, людные.

Когда я гуляю здесь с Паоло, становится очевидно, что он несчастлив.

В некоторых кварталах города он чувствует себя неудобно. Следит за тем, чтобы я не шла со стороны проезжей части, проверяет, по-прежнему ли мой бумажник лежит у него в кармане. Я смотрю на него с иронией. Я целыми днями брожу без него по улицам и поездом и рискую там отнюдь не только кошельком. Однако, как и сегодня, проходя по улице Фонтанелле, я боюсь не себе подобных и не настоящего. Мне не по себе, неудобно от ощущения узнавания. Я узнаю места и их значение.

Было бы гораздо проще вернуться домой, включить телевизор, открыть книгу. А на некоторых улицах, напротив, надо идти с широко открытыми глазами, хорошенько протерев очки. Улица Фонтанелле длинной змеей струится среди низеньких домиков. Снизу поднимается сильный запах отбеливателя, как это часто бывает в переулках. Влажный дух белья, развешенного на специальных белых и цветных сушках, защищающих вещи. Запах канализации, пропадающий после дождя.

Барочные особняки и здания XIX века отделаны цветной плиткой, по-летнему – пятнами, фрагментами, чтобы скрыть дефекты, – и все это напоминает страницы, раскрашенные детьми, не имеющими способностей к рисованию. Холм на заднем плане возвышается, словно обозначая границу.

В моем городе есть еще улицы, окончания которых я не знаю, автобусные маршруты, которыми я не ездила. Улица Фонтанелле, исхоженная до самого конца, ведет к старинному кладбищу – ходят слухи, что там собираются мафиози. Чтобы посетить кладбище, надо получить разрешение. У девчонок, которые бегают по тротуару, курточки из искусственной кожи с меховой

оторочкой и покрашенные ногти, и старые лица с выщипанными бровями, в стиле программы “Друзья” Марии де Филиппи [57] .

Поднимаясь по улице Фонтанелле, я испытываю не страх, а грусть. В этом квартале – редчайшей красоты архитектура. Здешние места облюбовали для себя галереи современного искусства: в Палаццо-делло-Спаньолю, находившемся в аварийном состоянии еще в шестидесятых годах – это видно в фильме Де Филиппо “Привидения по-итальянски”, – проводятся модные выставки. В последние годы квартал Санита заполнили магазины одежды. Там живет множество друзей, актеры, преподаватели. Семьи, держащие под контролем этот район, на какое-то время успокоились, потом снова началась стрельба. В главной церкви Санита Алекс Дзанотелли [58] вызывает к совести жителей.

А под Санта-Марией находятся катакомбы Сан-Гаудиозо.

Среди домов с обвалившейся штукатуркой – часть из них до сих пор хранит на себе следы землетрясения, другие разрушаются в силу естественных причин, подобно скалам, изъеденным временем, – красуются вывески по-итальянски и по-английски с приглашением купить билет в катакомбы. За церковью расположен подъемник Санита, соединяющий мост Мюрата с кварталом кладбищ. Невидимая граница проходит вдоль площади Кавура, она отделяет город живых от города мертвых, по которому, однако, перемещается и множество живых. Это очень древняя граница, убрать ее невозможно. И все же район Санита прекрасен.

С моста он виден с высоты птичьего полета: барочный купол Санта-Марии, террасы, балконы, мезонины, вновь оборудованные квартиры, воздушные галереи, растения, вывески, застекленные двери, крошечные подъезды... А улица Санита и улица Фонтанелле – широкие, немногие дороги нашего города с ними сравнятся. Размеренным шагом идешь по этим широким дорогам – дорогам, которые уходят в туф, к черепам, к почитаемым и забытым мертвым. Сюда ведут земные пути, здесь – подземный путь города, отсюда небо кажется более далеким, похожим на искривленный купол, на свод стеклянного колокола.

Обитатели Санита поднимают глаза к этому колоколу, если не едут на своих скутерах, а имеющие уши могут услышать доносящиеся с небес высокие ноты арии Царицы ночи, потешающейся над ними: небесный город существует, повторяет она им, этот город находится в небе, город тихих обитателей и замков, но он отнюдь не ближе к ангелам, напротив, он бесконечно, отчаянно далек от какого бы то ни было рая, ведь он существует в осадном кольце магазинов и машин.

Древняя сырость, дух покойников, которых монахи хоронили в крипте большой церкви, запах земли для захоронений – все это никуда не делось отсюда, а впиталось в скамейки, на которых сидят по обе стороны улицы, рассматривая друг друга, соседи, в оконные стекла, в расшатанные плиты мостовой. Кафе, поблескивающее балконом, не подает признаков жизни – даже аромат кофе оттуда не исходит.

Будучи границей между землей и водой, Санита растворяет нас: мы приходим сюда, чтобы забыть или чтобы возродиться, как Феникс, и насмешить, как полуживая марионетка Тото.

* * *

Череп – это знаки и двери.

У входа в церковь Пургаторио-ад-Арко на улице Трибунали стоят черепа из темной бронзы, охраняя катакомбы, где, по слухам, покоится прах кое-кого из крестоносцев; на самом деле там издавна существует культ черепов: его последователи подносят черепам, захороненным под барочной церковью, цветы, конфеты и разные безделушки. Когда спускаешься туда из красного с золотом интерьера расположенной над катакомбами церкви, богато украшенной, исполненной торжества благодаря светлой кисти Луки Джордано, тебя охватывает ужас. Подземелье в высоту больше, чем сама церковь, ступеньки скользкие, внизу темно, кажется, что этот лабиринт как нельзя лучше подходит для совершения черной мессы. Пройдя пустое и гулкое пространство, на фоне которого выделяется лишь изображение большого темного креста, освещаемое тусклым огнем светильников XIX века, посетители попадают в коридор, ведущий к захоронениям. У могил становится страшно. Люди заходят сюда, смеясь и шутя, но при виде черепов, окруженных грудami всякой всячины, начинают говорить тише: мы как будто видим перед собой пережиток религиозного культа инков: черепа, а рядом – перья, колые, цепочки, записки со словами благодарности и с просьбами. По правде говоря, ждешь не дождешься того момента, когда снова окажешься в живой сутолоке улицы Трибунали.

То же самое происходит и на кладбище Фонтанелле.

Простые люди уже несколько веков особым образом относятся к некоторым черепам из оссуария, почитают их, называют по именам, делают подношения, обращаются к ним с молитвой. Я всегда ошибочно предполагала, что название “Фонтанелле” может происходить от слова “родничок” [59] ,

обозначающего место черепа, где у новорожденных мягкая ткань. Когда я прохожу по улице Фонтанелле, мне почему-то всегда для надежности хочется надеть шапку.

Черепы также находятся в кладбищенском дворе монастыря Сан-Мартино – твердые, барочные, изящные черепа из белого мрамора, напоминание о смерти в центре прелестнейшего дворика, освещенного солнечными лучами, под голубым квадратом неба, в окружении зеленых ухоженных лугов, в тишине, которую лишь изредка нарушают маленькие птички, мирно порхающие тут. Когда сюда приезжают целые семейства с детьми, последние бегают по запретной зелени и заглядывают в колодец в центре маленького *desertum* [60], слушают, как отдаются их голоса от его стен, бросают туда монетки, чтобы проверить, отскакивают ли они от воды. А сразу же за двором – покои настоятеля, выходящие окнами на море: радостная панорама, и пастухи XVIII века с ангельскими личиками на голубом картонном небе в одной из комнат музея.

Однажды под Новый год черепа появились на площади Плебишито в составе огромной инсталляции Ребекки Хорн. Над поверхностью площади возвышалось множество черепов, да так, что старики и дети спотыкались, глядя на них, потому что они светились. Из голов исходило голубое неоновое сияние: смерть на окружной дороге, смерть в торговом центре, смерть в домах на окраине.

Эту инсталляцию разобрали, как и произведение Миммо Паладино, и многие другие, появившиеся благодаря безудержной, иной раз чрезмерной страсти местных властей к современному искусству. А вот на улице Сеттембрини, которая идет перпендикулярно улице Дуомо, еще одну инсталляцию Хорн разместил у себя музей Мадре, новый неаполитанский музей всего нового: время от времени в городе возрождается страсть к новизне – вероятно, в этом виновато название, ведь по-древнегречески *Neapolis* означает “новый город”. К примеру, исторический театр неаполитанского авангарда одно время именовался “Новый Новый Театр”. Все здесь нужно повторять два раза, чтобы вам поверили – правда? Правда-правда?

В светлом помещении с разной высоты смотрят на зрителя черепа из темного металла – бронзовые, как в церкви Пургаторио. Перед каждым черепом стоит круглое зеркало, оно автоматически вращается. Мы отражаемся там, а позади – о, суeta суeta! – образ того, чем мы будем и что мы есть. Крутящиеся зеркала всякий раз по-разному преломляют свет, причудливые пятна теней путешествуют по комнате. Этот танец сопровождается легкой музыкой.

В музее Мадре, миновав два чудесных зала с росписями Франческо Клементе, яркие краски которых славят жизнь, несмотря на то что именно там выставлены черепа, попадаешь в остальную часть экспозиции, представляющую собой печальную коллекцию смерти на фоне белизны минималистских комнат – особенно это касается произведений Дэмьена Херста.

Подземные черепа и голубые музейные открывают городские пути – в подземелья ада, к вратам преисподней, к люкам в полах домов исторического центра, откуда начинаются ходы в туннели, к убежищам времен Второй мировой войны, зачастую устраивавшимся на месте древнеримских рынков или жилищ византийской эпохи.

В восемнадцать лет у меня был аппендицит, меня прооперировали. Произошедшее очень напугало меня. В душе моего отца пробудилось детство, проведенное в квартале Санита, – и, очнувшись, я обнаружила на тумбочке музыкальную шкатулку с черепом и двумя танцующими балеринками.

Отупляющее действие наркоза еще не прошло, но я сочла подарок отвратительным. Тем не менее он до сих пор где-то у меня хранится.

* * *

В огромном подземелье Неаполя шевелятся длинные черви, как уже много веков или десятилетий это происходит во всех самых крупных городах мира. Кишечные черви города – это поезда, пожирающие его изнутри и разносящие на периферию тела его микроорганизмы.

Две городские линии электропоездов – это Кумана, о которой я уже упоминала, поезда ее перевозят людей на работу с окраин к центру (кровяные тельца, вирусы, макрофаги, сумасшедшие молекулы) и Чиркумвезувиана, соединяющая Неаполь с населенными пунктами, рассыпанными вокруг вулкана.

На Чиркумвезувиане всегда полно народу: люди облепляют желтую ветку, словно птицы дерево с тонким стволом. На станции “Площадь Гарибальди” пассажиры всегда сидят на краешках скамеек, готовые в любой момент вскочить, проскользнуть в вагон, шмыгнуть туда первым – может, даже не в тот поезд, лишь бы быть первым, лишь бы не слушать ветер, улюлюкающий в пустынной темнице станции. По ней передвигаются студенты, живущие далеко от университета и болтающиеся между Костьерой и Неаполем, старики, приезжающие в город, чтобы лечиться и проходить обследования,

учителя, чьи школы расположены далеко от дома, попрошайки, иностранцы, работающие на различных площадях города, разнорабочие, полицейские...

Но вот толпа рассеивается, сидячие места обнаруживаются даже в час пик, дышится легче. Чтобы добраться до Эрколано-Мильо-д'Оро, можно выбирать между двумя линиями, в определенные промежутки времени поезда следуют один за другим. А вот на ветке до Нолы-Байано часто случаются большие перерывы в расписании.

Иногда между поездами появляется время поговорить – даже если вы находитесь на разных платформах. Вот девушка в джинсах с зеленой каймой, рядом с ней прилегла красивая немецкая овчарка. Все пассажиры, спешащие к расписанию, – дисплей видно с расстояния мили, но надо же занять себя чем-нибудь, чтобы не стоять на месте, чтоб не мерзнуть, из опасения, что кто-нибудь сунет руку в сумку или рюкзак, вытащит кошелек или сотовый, – останавливаются рядом с собакой и гладят ее, спрашивают, сколько ей лет, как ее зовут. Девушка улыбается, потом на противоположной платформе замечает свою подругу. И начинается разговор. Громко. Все слушают. Хозяйка овчарки сообщает, что собака накануне кого-то там узнала и рванула за ним вслед в кондитерскую.

– А я снова меняю работу, – отвечает ей приятельница.

– А этот тебя бросил?

– Да, такой вот засранец.

Бранное слово отчетливо слышно, потому что до сих пор девушки почти кричали, а теперь она попыталась произнести ругательство вполголоса, но результат оказался противоположным, даже эхо возникло. Все происходит так, словно они находятся на разных берегах реки или на границе между двумя странами: здесь у нас вот такие дела, а у вас там? Они продолжают беседовать, и тут мимо пробегают мышь – толпа, до сих пор молча слушавшая диалог, заметно оживляется. Мышь семенит по платформе – маленькая и весьма напуганная. Но шум вокруг нее огромен, как волна. Даже китайцы, дремавшие стоя, прислонившись к лавкам или просто так, встряхиваются. Потом прибывает поезд на Поджомарино, тот, что должен был прийти в 14.26 – раньше расписания. Вагоны почти всегда переполнены уже с самой первой станции. Однако сидячие места еще остались. И единая до сего момента толпа разделяется, садится секторами: синьоры в бесформенных туфлях, с крашеными волосами, студентки с книжками или с пачками ксерокопий и маркерами, молодые люди, одетые в темное, с бесплатными газетами в руках, читающие рекламные объявления, мамы с детьми. Дети сидят у

них на руках или рядом и хнычут: “Жарко!”, но каждый раз, как открываются двери вагона, раздается сакраментальное: “Холодно! Застегнись!” В вагон входят музыканты. Прежде это были одиночки, теперь здесь прямо-таки бродячие ансамбли. Настоящий хит-парад стилей, направлений, возрастов. Вот группа помоложе: все мальчики, от двенадцати до шестнадцати лет, но у них взрослые глаза и старческая линия рта. Юноши экипированы как нельзя лучше: у одного бандонеон, у другого – аккордеон, в обязанности третьего входит лишь транспортировка тележки с усилителем. Это остов тележки для покупок, из тех, что старушки таскают с собой в супермаркетах, с желтой или зеленой тканевой сумкой, но тут сумки нет, осталась только решетка и добавились провода и ящики разных размеров, а еще что-то вроде амортизатора, чтобы из-за покачиваний поезда механизм не давал сбоев и ящики усиливали звук без искажения. В репертуаре есть нечто цыганское, но преобладают неаполитанские песни.

Просьба о вознаграждении в конце представления произносится быстро, четко, при этом ребята улыбаются с вызовом. Люди отодвигаются, некоторые платят. Другая группа – старики, сбором денег у них занимается женщина, стройная, с высокой прической, совсем не такая, как все те бабы в платках, толстые, беззубые и вонючие, которыми обычно набит поезд. Все мужчины из этого ансамбля в шляпах, под конец они добиваются благосклонности публики; репертуар – полностью неаполитанский, причем довольно редкий: иной раз звучит “Кармела”, а не только “О соле мио”. Тележка с усилителями – это настоящий “Феррари” по сравнению с той, какую тащили за собой мальчишки. По завершении выступления женщина протягивает пассажирам перевернутый барабан, и туда падает несколько евро.

Чтобы их не выгнали из поезда, музыканты всегда используют одну и ту же тактику: обработав один вагон, они останавливаются в промежутках между сиденьями, обирают разместившихся на них пассажиров и на следующей станции переходят в другой вагон. Иногда, когда едешь куда-нибудь с возвратом в тот же день, встречаешь там одну из двух групп, проделавшую путь до Сорренто или Поджомарино и возвращающуюся по тому же маршруту в обратную сторону, только в другом поезде. Сегодня музыкальное сопровождение сталкивается с блюстителями закона: в поезде – охранник, и один из музыкантов проворно выходит из вагона, в Санта-Мария-дель-Поццо, даже не начав играть. Люди, в отсутствие музыки, сидят тихо, наблюдая друг за другом, за теми, кто находится на соседних сиденьях, подслушивая разговоры по сотовому.

За окном на короткое время появляется море, окна домов расположены так близко к путям, что видны включенные телевизоры в квартирах. В Портичи железную дорогу окружают бетонные стены, они такие высокие, что конца не видно, как во время исхода евреев из Египта по морю.

Какой-то мужчина по сотовому пытается бросить свою девушку, местами связь прерывается, но его это не останавливает. Он перезванивает. Оскорбляет ее, обвиняет. Говорит: мол, все кончилось той ночью. Именно в этот момент связь прерывается. Но потом он поясняет: в ту ночь, когда она переспала с другим. Снова нет сигнала. Суть в том, что это она его бросила неделю назад. И опять нет связи. Девушка-китаянка, сидящая рядом с ним и задремавшая, вздрагивает и подтягивает сумку на колени, она немного напугана.

В Портичи входят двое мальчишек. Они из тех, что безобразничают в поезде, толкаются, вопят. Им лет по тринадцать.

Пассажиры поглядывают на них с беспокойством. На станции “Виа Либерта” входят еще двое. Тот же возраст, один высокого роста. Они садятся рядом с вошедшими ранее, становится очевидно, что между собой они не знакомы. Однако они быстро находят общий язык – язык взглядов и толчков. Вновь прибывшие замечают у одного из тех, первых подростков, сотовый телефон в руках.

– Покажь!

Обмен мнениями относительно мобильного тонет в шуме поезда. На “Эрколано Скави” вторая парочка спокойно поднимается, и тот, что повыше ростом, жестом осаждает владельца телефона. Этот жест стоит тысяч речей: спокуха, мол, я тут самый сильный. И они выходят. Мальчишки остаются сидеть, словно пригвожденные, а потом начинают изо всех сил стучать руками в стекло. Вагон трясет, пассажиры возмущаются. А паренек, оставшийся без мобильного, бормочет со слезами унижения на глазах – он не хочет, чтобы эти слезы кто-нибудь видел:

– А теперь что мне делать? Я только вчера его купил...

* * *

Название “Мильо д’Оро” [61] кажется весьма гостеприимным: им обозначается длинная вереница барочных вилл, построенных в XVII–XVIII веках, растянувшаяся на побережье, когда-то считавшемся одним из самых

привлекательных в Европе, по соседству со знаменитыми Геркуланумом и Помпеями, с Оплonti, где находится вилла Поппеи, со всеми этими удивительными зонами раскопок. Здесь сходит несколько человек, и я в том числе.

Район нападений и убийств, станция, как будто висящая в пустоте, с полупустынными улицами, решетками на окнах домов, трещинами, выеденными потоками дождевой воды вдоль тротуаров. Улица спускается вниз, к морю. Поезд уже ушел, но такое впечатление, будто он и не трогался. Как будто дома Портичи, Торре-дель-Греко, Эрколано на каком-то участке пути распахнулись передо мной: ведь есть поезда, которые уносят далеко-далеко, а есть такие, как Везувиана, которые везут вовнутрь.

* * *

Учителя школ из Торре, провожавшие меня до станции “Леопарди” после лекции, не хотели оставлять меня там одну.

Я вспомнила, как в детстве бабушка говорила:

– Если я тебя оставлю, тебя украдут, ведь ты красивая.

Если ты останешься одна на этой станции, носящей имя великого поэта, тебя украдут.

На самом деле – кто его знает, что могло случиться со мной в этом цементном здании, из которого открывается вид на изумрудную зелень склона Везувия? Конечно, здесь легко напасть на человека: никто не услышит, никто не спасет. Неподалеку расположена вилла Антонио Раньери, там идет реставрация. Бедный Леопарди: останки сгинули на кладбище Фонтанелле, официальная могила находится над галереей Фуоригротта, рядом с могилой Вергилия, перед античным гротом, соединявшим морской город с Флегрейскими полями; мемориальная доска – на улице Санта-Тереза-дельи-Скальци; рукописи в Национальной библиотеке на площади Плебишито (в том числе “Бесконечность”), а имя подарено провинциальной станции, неподалеку от которой расположена усадьба, откуда он в тоске глядел на “Везувий-разрушитель”, где долгие годы было царство сирени и чахлого кустарника.

А сейчас эту усадьбу оспаривают друг у друга муниципальные власти, пытаясь упрочить свою репутацию за его счет.

Бедный Леопарди, истинная душа города, исчезнувший понемногу и оттуда, и отсюда, – к нему приходят те, кого он не знал, его забывают те, кто изучал его творчество в школе, и

любит его одна лишь природа, которая рано или поздно возьмет реванш у Неаполя.

У меня еще сохранились фотографии, сделанные во время первой поездки в Помпеи, а во рту – вкус фанты, которую мы пили, сидя посреди Форума, на корточках на цоколях капителей.

Мне было шесть или семь лет, я ездила туда вместе с классом.

Помню, что я с трудом поднимала ноги, ступая меж крупных плит улиц, и тяжело было брести по тротуарам, ведущим в инсулы [62], – будто сделанным для настоящих великанов.

Какими большими казались Помпеи с такой высоты. И жаркими, а поход по ним – изнурительным.

Сколько камней, сколько земли.

Мне хотелось посмотреть все, но видела вокруг только своих одноклассников. А поскольку, когда идешь друг за другом, взгляд всегда упирается в землю, я помню четыре дырочки на ботинках, какие тогда все носили, – в них моя нога напоминала “фольксваген-жук”, нашу тогдашнюю машину.

Не машина – махина, через “х”.

Помпеи остались в моей памяти огромным миром, разрушенным, но по-прежнему живым, в который можно было наведаться, – в ту пору не менее трудно было идти по проспекту Умберто, – а еще тем таинственным местом, где происходит действие прекрасного рассказа Теофиля Готье – “Ария Марцелла”.

Молодой француз, путешествующий по Италии, видит в Археологическом музее Неаполя гипсовую копию великолепного бюста и думает: с кого он сделан? На следующий день он отправляется в Помпеи и ночью оказывается запертым на территории, где ведутся раскопки. Внезапно перед его помутившимся взором мертвый город оживает.

В окружении говорящих на латыни помпейян путешественник, изучавший этот язык, объясняется на нем как может; потом он попадает в дом прекрасной женщины, куртизанки – это с нее лепили бюст, который он видел в музее! Но, увы, оставшись наедине с соблазнительницей, он обнаруживает, что она – вампир, призрак, который хочет удержать его в своем времени, давно прошедшем, забрав себе его кровь и душу...

Вампиры в Помпеях – идея великолепная. Есть в этом, пожалуй, некоторый китч, но я читала Готье с большим удовольствием. Еще в те годы я прочла книгу остроумного, но ныне забытого журналиста, Паоло Монелли, “Приключения в I веке” – кажется, так она называлась. Там тоже мир мертвых возвращался к жизни.

Сегодня Помпеи занесены пылью. Пожалуй, мне больше

нравится компактный Геркуланум.

Раскопки древнего Геркуланума ведутся в недрах ныне существующего, их можно было бы продолжать, но тогда современный город рухнет. Печально, что новый город выглядит более обшарпанным и запущенным, чем античный, и что снизу, из зоны раскопок, граница видится не слишком четкой.

Виллы Мильо д'Оро тоже поражены подобной эрозией: некоторые отреставрированы и красуются перед наблюдателем во всем своем блеске, другие пребывают в упадке или же пострадали от пожара. Там и тут видны следы прежнего великолепия, маленькие сады, пальмы – печальная память о тех временах, когда здесь был курорт. На сегодняшний день мне требуются особые очки, чтобы разглядеть в Геркулануме и Помпеях не только индустриальные окраины.

Вместе со мной в вагон входит сумасшедший. Он волосат, на нем темно-серое пальто, руки он держит в карманах. Маленький рот плотно сжат и напоминает бутон, и он повторяет все громче и громче:

– Надеюсь, он сойдет с рельс! Все сдохнут, а я не сдохну!

Потом он садится на одно из зеленых грязных сидений, надевает черную шапочку, шерстяную, плотно сидящую на голове.

– Хоть бы он сошел с рельс! Все должны сдохнуть, должны!

Голос становится все тише. Мы, все еще стоя, переглядываемся. Мы – это студентка, едущая из далекого дома в университет, это видно по размеру ее сумки (там у нее учебники, плеер, обед, упаковки платочков, пузырек шампуня), синьора с огромным чемоданом на колесиках, которой ехать дальше, чем нам, ну и я. Сумасшедший успокоился, он тихо бормочет что-то, мы можем сесть.

Мы находимся в одном из поездов до Ночеры-Инферьоре, Ночеры полей, деревьев и земли, о которой рассказывал Доменико Реа.

На протяжении года я каждую неделю ездила в Ночеру.

Мне вспоминается рассказ “Тот, кто видел Куммео”, один из самых красивых у Реа. В Ночере большое количество старинных сельскохозяйственных хозяйств, возрожденных к жизни. Здесь заканчиваются обширные городские окрестности Неаполя, начинается переход к Салерно, к другим пейзажам и другой истории.

А поездка до Ночеры в большей степени, чем сама Ночера, помогает понять Неаполь и его истинные корни, изначально – сельскохозяйственные.

Поезда на Сапри и Потенцу, делающие остановку в Нофи, отправляются с вокзала под открытым небом, с “Наполи Чентрале”. Приходится идти через всю станцию, чтобы добраться до этих поездов: они всегда стоят на крайних путях – двадцатом, двадцать втором и двадцать пятом. Часть их маршрута пролегает по путям метро линии 2, и пассажиры дальних маршрутов смешиваются с пассажирами метро, передвигающимися на короткие расстояния: первые спокойно сидят, в то время как городские жители, словно бескрылые мухи, суетятся, все сметая на своем пути, – и все только ради того, чтобы после сойти в Кавуре, проехав один-единственный перегон. В такие моменты ритмы города и провинции смешиваются, а точнее, сталкиваются и вступают в конфликт.

На этих дальних электричках публика весьма разнообразна, она все время меняется, но народу такое количество, что сесть невозможно. Студенты читают учебники по уголовному судопроизводству и почти никогда не путешествуют дальше Салерно. Кто-то едет на работу: чемоданчики, сотовые, которые теряют сеть через пятнадцать минут, головы падают, и люди засыпают – плащи, арабский разрез глаз, грязные волосы, перхоть, изможденные лица. Главное, что можно сказать о поездах, следующих в Калабрию: в них воняет. Воняет невыносимо, иной раз приходится открывать окна, ржавые, заклинившие, даже если на улице холодно или идет дождь. Воняет затхлостью, спертым воздухом, немытыми ногами, жиром, загаженными туалетами, мочой и потом. Поезд грязен снаружи и мерзок изнутри. Вагоны первого и второго класса не различаются по уровню. Это последние вагоны последних поездов Италии.

Когда наступает время обеда, пассажиры достают свои бутерброды, дорога предстоит долгая, и часто люди начинают есть, пока поезд еще стоит на вокзале, а из окна открывается вид на административный центр.

Служащий железнодорожной компании, чей наряд гармонирует по цвету с зеленой в клетку обивкой старых кресел, судя по выговору авеллинец, недолюбливает неаполитанцев:

– В Калабрии неаполитанцы ведут себя как хозяева... машины ставят, где им вздумается... они все скупили: Скалеа, Сан-Никола...

Он говорит со своим соседом и коллегой, и диалекты постепенно смешиваются, как, впрочем, и во всем поезде: беневентский, торренский, авеллинский... Разные языки и мрачные взгляды – черные, как Везувий, который виден все

отчетливее, по мере того как поезд движется вперед.

– Когда мы приедем в Грополи? – спрашивает мальчик у своего папы, без особой надежды, поскольку Агрополи далеко.

Джантурко, ближайший пригород, весь состоит из ящиков и складов.

Огромные ящики привозят из порта, они образуют самостоятельную панораму надписей, словно игрушки огромного ребенка, “лего”, принадлежащий титану: Capital, Oix, Zim, Uasp, China Shipping, Hanjiin, Nedlloyd, GenstarLinea Mexicana, Senator, Cosco... Студентка, едущая в одном со мной вагоне, включает запись университетской лекции. Текст сливается с шумом поезда в монотонное жужжание. За окном проплывают скособоченные сараи, дома-коробки оранжевого, розового, желтого, серого, голубого цвета.

* * *

А вот в Сан-Джованни-а-Тедуччо стены старых особняков несут следы военного времени, штукатурку никто не подновляет, туннели, одинокие сливовые деревья.

Начиная от Пьетрасы – там оканчивалась первая итальянская железная дорога, существовавшая при Бурбонах, Неаполь – Портичи, – поезд едет вдоль берега моря, в нескольких метрах от его зимних валов. Пейзаж напоминает бурю с картин Тёрнера: вода бьется о скалы из черной лавы, небо сумрачно.

На станции Портичи-Эрколано поезд останавливается над портом, рядом с бело-голубыми лодками: в Торре-дель-Греко меж домов торчат несколько тоскливых пальм. В Санта-Мария-Ла-Бруна на море не видно никаких следов присутствия человека. Лишь сосна, как на открытке, правда слегка пощипанная.

Хотя на горизонте сияет Капри, создается впечатление, что весь Неаполь повернулся к морю спиной: на берегу нет ни одного дома, откуда жители могли бы полюбоваться панорамой.

Всё какие-то задворки, полуразрушенные задние стены закрытых домов, затаивших досаду.

Потом начинаются горы. Когда едешь из Помпей, кажется, будто находишься меж двух орлиных крыльев. Скафати, Ангри и Ночера: вершины нависают над домами и поселками тридцатых годов. А на обратном пути можно сесть в поезд из Салерно: все вагоны новые, зелено-голубые, крашенные сиденья, пластиковые двери цвета мелиссы.

Низ грязный, но краски все равно свежие и яркие – так дети остаются хорошенькими, даже если их никто не моет. Еще здесь

есть стойки для велосипедов, пустые: в Неаполе никто не передвигается на велосипеде.

* * *

И собственно метро.

Линия-1, новая, проложенная высоко, вся украшенная современными инсталляциями, и Линия-2 – старая, вдоль моря.

Они пересекаются на площади Кáвур – так здесь произносят.

Пьетро Спирито, мой друг-писатель, приехавший из Триеста, поначалу развлекался: спрашивал, как проехать на эту станцию, названную в честь пьемонтского графа, произнося при этом его имя правильно, с ударением на “у”; ему отвечали:

– Куда-куда? Ах, Кáвур!

Старая ветка разрезает город снизу, вдоль берега, по склону холма, от Джантурко до Монесанто, от Кьяйи до Мерджеллины и Флегрейских полей. Новая линия идет зигзагом, напоминая собой озлобленного питона, захватывая Секондильяно и Пишинолу, Матердеи, Вомеро-Альто, а также площадь Данте, а потом возвращается обратно.

Старую ветку несколько лет назад перестроили, но серо-желтая плитка, шары, освещающие станции, яркие синие и красные краски, использованные в оформлении, – все это уже покрыто сажей, жиром, пылью. Некоторых до сих пор трогают вагоны десятилетней давности, те, в которых мы ездили в студенческие годы, – их так и не списали. На станции “Наполи–Пьяцца Гарибальди”, где мы все ждем поезда, вытягивая шеи, и взгляд теряется во мраке туннеля, в толпе иной раз становится тесно, несмотря на то что платформа довольно широкая. Лужи мочи, особенно по вечерам, там и сям – большие кучи опилок, скрывающие результат потери жидкости человеком и стенами. Электрички средних и дальних маршрутов используют те же пути, поэтому никогда точно не знаешь время прибытия состава метро: если проходит “Евростар”, очередной поезд метро откладывается, зато можно доехать до нужной станции на местной электричке. Это тоже особенность Неаполя: не припомню других европейских городов, где метрополитен сливался бы воедино с сетью пригородного сообщения.

Иной раз, пока я жду поезда на “Пьяцца Гарибальди”, в памяти моей всплывает парижский RER [63] с его поступающим с недостижимой поверхности спертым воздухом, угнездившийся в пазухах земли еще глубже, чем кишечный узел, включающий в себя хитросплетенную сеть парижского метро.

Не так давно на некоторых станциях линии 1, и особенно на “Пьяцца Гарибальди”, ввели радиотрансляцию, которую можно услышать там в любое время суток, – она весьма оживила атмосферу. Я схожу с поезда из Больцано, тринадцать часов проведя на полке вагона, и метро встречает меня кавер-версией “Фуникули, фуникула” [64] . Или же возвращаюсь из Эболи и слышу голос Фрэнка Синатры, который эхом отдается в бетонных стенах, рождая сложные образы – ночные бары, смокинги, коктейли “Маргарита”, – а мы тем временем бредем в лучах желтого света, вымотанные, грязные, пристально разглядывая граффити. Самые нервные шагают туда-сюда по платформе, словно волки в клетке, считая шаги, рассматривая женщин, стоящих рядом. Когда наконец поезд метро прибывает, люди сбиваются в невероятную по плотности толпу. И чем больше задержка поезда, тем дольше он стоит на “Пьяцца Гарибальди”, дожидаясь, пока все погрузятся, – все это напоминает нападение на дилижанс. Двери остаются открытыми, те, кому не удалось пробиться дальше первой ступеньки, там же и садятся, в то время как за спиной у них нарастает целая живая стена, – и доверчиво ждут, пока состав тронется. В вагонах цыганки иной раз садятся на пол, а мы все стоим почти что в обнимку – мамы, дети, преподаватели, студенты, прекрасные нигерийки, все в косичках, мужчины с жуткими лицами в потертых штанах, но с невероятными сотовыми телефонами, ведущие по мобильному какие-то ссоры и споры между одним туннелем и другим.

Самая модная станция старой ветки – “Пьяцца Амедео”, в ней первой разместили произведения искусства, в преддверии строительства линии 1. Еще есть изящная “Мерджеллина” и несколько менее изящная “Кампи Флегреи”, расположившаяся под открытым небом.

* * *

Линия 2 более изысканная: она вся сплошь состоит из эскалаторов, на стенах – художественные снимки. Появлению поезда предшествует апокалиптический грохот, который сфотографировать невозможно – завывание ветра, перемещение воздушных потоков, мощное эхо, свист, – и только потом обычный шум поезда. Я часто думаю: ведь линия 1 была проложена через один из многочисленных древнегреческих некрополей, которыми богата земля нашего города, и, быть может, однажды призраки устроят там пикет, поскольку им, вероятно, осточертел этот грохот.

Дорога от станции к станции – настоящая радуга: сине-зеленая “Матердеи”, зеленая “Куатро Джорнате”, розовая “Сальватор Роза”. Сальватор Роза был самым мрачным из художников XVII века, и по иронии судьбы его имя увековечила станция цвета младенческих распашонок. На “Пьяцца Ванвители” публика в метро начинает меняться, а между “Музео” и “Матердеи” она уже совершенно другая. Молодежь “альтернативного” вида, с пирсингом, студентки-испанки, синьоры, катающиеся между верхним и нижним Вомеро – больничным районом и торговым, – с пакетами, полными покупок, в разноцветных пальто, с новыми сумками, в фирменных туфлях.

Когда под вечер перемешиваются между собой кьяттили [65], средний класс и жители промышленных районов, Пишинолы и Секондилляно, между ними возникают конфликты.

По мере того как поезд удаляется, держа курс к “парусам” Секондилляно, произведений искусства, художественных фотографий, архитектуры а-ля Гауди становится все меньше, и наша уверенность исчезает вместе с ними.

* * *

“Жизнь дорожает, а Китайка делает ее дешевле!”

Эта надпись красуется в центре крытого рыночка в Фуоригротте, где обосновались в основном торговцы продуктами питания, но не только, – в окружении каких-то конструкций из красных и желтых бумажных полосок, похожих на китайские фонарики, куколок и блестящих рождественских ленточек. Я отправляюсь на поиски Китайки. Среди кукол и дынь с нарисованными на них рожицами стоит огромный прилавок с сухофруктами: грецкими орехами, миндалем, фисташками, подсолнечными семечками, бобами люпина, инжиром, финиками. Емкости с семечками прикрыты прозрачной пленкой, а за емкостями стоит Китайка – маленького роста чернявая женщина, с накладкой для волос в условно-восточном стиле, при помощи нитки закрепленной на макушке, единственный восточный атрибут в этой, в некотором смысле александрийской, части рынка. Торговля идет бешено, и Китайка снует туда-сюда, словно индуистское многорукое божество, в окружении четырех или пяти помощников – все они раза в два выше нее, может, это ее сыновья или зятья, и они вовсе не китайцы, ни одной китайской черты. Это лишь одна точка старого рынка Фуоригротты, с годами постепенно все более и более

расширявшегося и укреплявшегося за счет бетонных конструкций, крытых павильонов, палаток, нараставших сбоку от них. Снаружи невозможно составить себе представление об истинных размерах рынка, учитывая, что вход невидим для непосвященных: единственным указанием на него служит толпа женщин и детей, сворачивающая куда-то за многоэтажный дом, рядом с синей решеткой, идущей вдоль железнодорожной линии Кумана, а потом несколько отклоняющейся от ее маршрута. Перед станцией на улице Леопарди (и здесь тоже бедный Джакомо!) ныряем в рынок и здесь, вдали от городского шума, становимся частью огромного организма, состоящего главным образом из обитателей этого квартала.

С того момента, как мы попадаем во чрево рынка огромного города, границы которого, состоящие из прилавков, палаток, бочек и ящиков, теряются где-то на соседних перекрестках и улицах, – так Неаполь самовоспроизводится в миниатюре внутри себя, Неаполь в Фуоригротте словно русская матрешка, – нас преследует крик: “ананасазаевра”, то есть “ананас за евро” (ананас на неаполитанском диалекте женского рода – ананаса).

Ряды прилавков, на которых громоздятся книги для школьников, пиратские и оригинальные компакт-диски, анчоусы, артишоки, фенхель, капуста (за полтора евро кочан), моющие средства и дезодоранты, юбки, статуэтки в африканском стиле, апельсины, тыквы, креветки, морские гребешки, тянутся по обе стороны улицы до самого горизонта.

Кажется, будто это не городская улица, а тропа где-то на американском Дальнем Западе: на заднем плане – холм, огромные многоэтажки улицы Караваджо устремили свои одинокие вершины в небо, и рынок, тысячей щупалец протянувшийся в окрестные парки, а рядом – бежевые кирпичные дома, суши для белья на балконах и кампанские пинии несут свою вахту.

– Одевайте своих деток в итальянские вещи! Все по четыре евро!

“Итальянские вещи” оказываются детскими халатами, крошечными, зелеными и желтыми, их продают на вес, женщины уносят их с собой в руках вместе с кофточками и майками. Среди этой длинной процессии медленно, не прибегая к звуковому сигналу, прокладывает себе путь трехколесное транспортное средство с мотором, некое подобие мотоцикла с коляской, доверху набитой сложенными пластиковыми пакетами, готовыми к продаже. Человек, управляющий этой машиной, стар и одет в теплую куртку и стеганую шапку, эдакий китаец-сибиряк, словно вышедший из фильмов Кустурицы.

Женщины расступаются, сибиряк не произносит ни слова, не хвалит свой товар: он и так хорошо расходуется, а продавцу остается лишь медленно колесить по проезжей части рынка.

А внутри звучат другие голоса, и запахи становятся более резкими: сырой лук, рыба. Здесь стоят контейнеры со всевозможными замороженными продуктами, здесь царство рыбных палочек и рисовых зраз с начинкой, называемых “апельсинчики”. На прилавке с фруктами – многочисленные плакаты, в том числе следующий лаконичный и четкий: “Богатые тоже плачут, думая о бедных”.

Крики, доносящиеся изнутри, слышны снаружи:

– Сюда, сюда! Смотрите, какие рыбные палочки! [66] – А звуки отдаются от бетонных потолков, грубых, неровных.

Из музыкальных ларьков доносится голос Пино Даниэле, маринованные перцы глазеют на покупателей из синих пластиковых тазиков.

В самых узких местах, между прилавками, – скопление детских прогулочных колясок, впрочем, и детей, которых мамы в спортивных куртках, черных водолазках, с бордовой помадой на губах, тащат за собой, тоже полно. В результате образуются сложные транспортные развязки: когда здесь встречаются две коляски, это все равно что нос к носу съезжаются два автобуса на узкой улице, – малыши таким способом приобщаются к городскому дорожному движению в миниатюре.

Я выхожу в поисках окраины рынка.

Бреду среди домов, раздается телефонный звонок: коллега звонит из Милана, он проводит исследование, посвященное “городу в группе риска”, и спрашивает меня – в последнее время это случается все чаще и чаще, – что я в связи с этим могу сказать о Неаполе. На какое-то мгновение перед глазами у меня возникает картина: сотовые и стационарные телефоны нескольких десятков человек, живущих в Неаполе и работающих в нем, олицетворяющих его, начинают одновременно звонить: как там дела в Неаполе, как дела? Я говорю коллеге: мол, созвонимся, когда я буду дома, нажимаю “сброс” и оглядываюсь. Как дела в Неаполе?

Сегодняшний Неаполь для меня – это Фуоригротта (так я должна была бы ответить), это булочные-пекарни с круглыми булками в витринах, заставленных всякой всячиной, это зеленоглазая девушка, которая улыбается мне и сторонится, проходя мимо груды рыночного мусора, это пропитанный солнцем воздух, проникающий сквозь верхние этажи домов, выходящих окнами на парк, где все телевизоры настроены на канал RAI-1: все смотрят, какое блюдо будут готовить сегодня в

кулинарной программе. А еще – это синьора с двумя маленькими жемчужинками в ушах, в черном платье-джерси, обтягивающем брюшко, которая, выходя с рынка, говорит мальчику лет шестнадцати:

– Тебе скоро позвонят с работы, вот увидишь, стольким молодым звонят...

Она произносит это без улыбки и даже сама не верит в то, что сказала, а под мышкой у нее чудеснейший пучок латука, и она намеревается пойти поболтать с кумушкой, которая машет ей рукой из окна первого этажа.

В Фуоригротте, среди таких вот синьор и кумушек, во владениях Китаянки заканчивается Неаполь, заканчивается путь земли, и вопросы тоже заканчиваются, растворяясь в воздухе, улетаая к небу.



В воскресенье утром город предстает таким, каким ему следует быть всегда, – очищенным, благодаря небу и ветру.

Неаполитанцы спят. Утром в выходные город залит солнцем, даже зимой.

Это вертикальный город, город, поднимающийся вверх, идущий с высоко поднятой головой. Нет больше области мрака, уголков и закоулков, где таится тьма. Белым, голубым, зеленым, даже как будто цветущим – таким предстает перед нами Неаполь, в наряде, который ему не принадлежит. Он предстает обманным, сотканным из природы, где отсутствуют животные, за исключением воздушных: чаек, голубок, пчел в теплое время года, немногочисленных осенних мух. И тогда незачем подниматься к

Сан-Мартино, откуда город видится таким круглый год, даже в грозу, даже когда умираешь, даже когда ненавидишь или когда тоскуешь в окружающем шуме.

Неаполитанские воскресенья – прежде чем начнется пустой ритуал рожков с мороженым, аперитивов, обедов, автомобильных пробок на дорогах к городскому парку и к Позиллипо (все ради того, чтоб отвоевать себе квадратный метр у моря, создать иллюзию маленьких каникул), – полны призраков, бредущих под солнцем.

Призраков из менее суматошных времен, ну или просто из более ранних. Они показываются, пока мы наблюдаем, как работает посудомоечная машина, подглядываем за играми кошек и за тем, как они дремлют, или смотрим на заспавшихся мужей, на закрытые ставни, на болтающиеся на балконах халаты, на белье, висящее на веревках, накануне отодвинутое в угол из-за дождя.

По улице проплывают облачка пыли, золотистые вихри, крестьянки, идущие в поле, телега, груженная морскими котами, лисица, овца, мужчина с корзиной морских карасей – он наловил их ночью.

Они исчезают, как только в них врежется “Чао” или “Ямаха” [68] или когда сталкиваются с аптекаршей: она сегодня дежурная, отодвигает жалюзи при помощи пульта. Единственный, кто спокойно с ними сосуществует, хотя и притворяется, что это не так, – это Пеппино, который каждое утро открывает свой газетный киоск на перекрестке улицы Караваджо, у него полагается узнавать новости – о себе, о мире, о печатных знаках, рассказывающих жизнь нашего города со страниц газет.

Они уходят не прощаясь, эти призраки, теряясь среди косых теней оград и светофоров.

* * *

Сегодня утром мне позвонили из миланской газеты и спросили:

– Вы к нам в ближайшее время заглянете?

– Нет, извините, в ближайшие месяцы подниматься к вам я не буду.

На другом конце провода смеются:

– Милан ведь стоит на равнине! Не нужно никуда подниматься!

Мне хочется объяснить: я знаю, что Милан стоит на равнине, и все же с юга туда всякий раз поднимаешься. Возможно, в этом

виноваты школьные географические карты. Они висели на стенах, и, глядя на них, я всегда думала, что мир растет вверх, как дети.

Мне тогда казалось, что Италия висит внизу, а с сапога что-то падает – Сицилия, она уплывает в море из-за силы земного притяжения.

Европа и Азия тоже висят: их подвесили за шиворот, а ноги болтаются. Италия падает с Европы, Испания балансирует на Гибралтаре, словно толстая балерина на тоненьком мысочке. Греция, бедняжка, слишком долго находясь в подвешенном состоянии, стала терять куски в виде островов. Азия растрепалась по краям: Индия, Индокитай, Япония – как тесто для пиццы, которое моя мама делала по выходным, а я тайком брала в руку, чтобы посмотреть, как оно постепенно опускается в кастрюлю из жаропрочного стекла.

– Перестань! – кричала мама, заметив, чем я занимаюсь. Но кто заставит Японию перестать падать?

Во всем мире с высоты континенты соскакивали в нижнее полушарие, словно пузыри: Австралия, Антарктида. Африка тоже заострена книзу, как и Южная Америка. А раз всё на юге висит, неизбежно должно было появиться убеждение в том, что ехать на север – значит подниматься.

Вероятно, для древних все выглядело иначе, ведь в ту пору мир считался плоским блюдом, по которому можно было перемещаться лишь в горизонтальном направлении и с которого можно было свалиться только один раз – добравшись до края.

Но для меня, для нескольких поколений итальянских школьников, выросших в классах с затертой штукатуркой, залитых солнечным светом, на стенах было изображено истинное положение дел. Где находится Неаполь? Внизу.

Да, верно, что-то было и южнее. И сам Неаполь тоже был верхним и нижним, как Бергамо. На Вомеро поднимаемся, в Санита спускаемся. Ты куда? Вниз по Неаполю. Где живешь? Над Неаполем. Куда бы мы ни двигались – нужно либо подниматься, либо спускаться.

Но, поскольку направления, какие для нас обретает мир, – это лишь отражение состояния души, и если б во всех классах по всему миру карты не висели на стенах, а лежали на полу, не было бы необходимости никуда подниматься или откуда-то с трудом спускаться. И не нужно было бы самолетов, чтобы добраться до разных мест. А еще не только Милан, но и Неаполь наконец-то оказался бы на равнине.

Роселла рассказала мне, как однажды ездила с семьей отдыхать в Данию в доме на колесах. Едва отъехав от Сан-Джорджо-а-Кремано, фургон сломался, у автобусной остановки. Папа Роселлы отправился за механиком, а мама с дочкой остались караулить машину.

На остановке в ожидании автобуса собралась целая толпа тетушек, и все они наперебой спрашивали:

– Что случилось? Куда вы едете?

Мама Роселлы объяснила: мы, мол, едем в Данию, но фургон сломался, и теперь мы ищем механика. Если поломка серьезная, лучше узнать об этом до того, как мы доберемся до Дании.

– Да, вы правы, синьора... Ведь до Дании дорога все время идет в гору, – пробормотали тетушки сочувственно.

* * *

Сверху Неаполь кажется огромным балконом, на который садятся голуби и чайки. Сверху воздушные пути свободны.

Прилетая в Каподикино, я несколько раз становилась свидетельницей тому, как развлекаются пилоты: они сажают самолет низко-низко, проходя почти между домами, делают круг над Капри и Искьей, совершают бреющий полет над Баньоли.

Я всегда смотрю на море, на рисунок, образованный тенью облаков, чтобы не видеть крушения “Италсайдера” [69] . Тень, которую самолет отбрасывает на воде, перепархивает через Каподимонте. В ясную погоду, когда приземляешься в Неаполе, кажется, что опускаешься на морскую раковину.

* * *

Строя корсо [70] Витторио Эммануэле, Бурбоны задумывали его как террасу улицы Караччоло.

Нужно было, чтоб из красивых особняков, карабкающихся по склону холма, открывался панорамный вид. И вот эта одна из самых длинных улиц города пересекла грудь Неаполя, отделив возвышенную часть от моря, и теперь жители многочисленных домишек, громоздящихся один на другой в парках XIX века, устроенных в стиле либерти, всегда могут полюбоваться морем.

С недавних пор корсо в обе стороны заставлен припаркованными авто, и продвижение по нему составляет некоторую трудность. Ему полагается быть одной из самых оживленных автомобильных дорог в городе, но все обстоит иначе.

Однако, если вы не за рулем, если вы просто неторопливо прогуливаетесь по корсо, любуясь панорамой, вид отсюда открывается чудесный, ясный, весь в длинных лучах света.

В самой высокой многоэтажке, расположенной в одном из здешних парков, живет фотограф Лучано д'Алессандро, к которому я время от времени навещаюсь в гости. Он живет среди облаков, сюда не доносится шум Неаполя, с такой высоты даже не видно машин внизу. Дом Лучано подобен орлиному гнезду. Здесь царствует абсолютная тишина. Лишь черно-белые фотографии, шум деревьев на улице, а если дождь идет – слышно, как долго бурлит и стучит вода.

* * *

А еще на корсо начинается одна из самых красивых лестниц Неаполя – Петрайо. Ступени Петрайо соединяют исторический центр с Вомеро, это уединенное и спокойное место. В начале прошлого века именно здесь жил Пауль Клее, когда приезжал в Неаполь. Краски для своих картин он воровал у итальянского неба, глядя на него с неаполитанских лестниц: весеннюю желтизну, печальную голубизну, пасхальную белизну. В Петрайо обитают счастливые семейства, которым неведом безумный грохот города, – правда, им приходится сражаться с бродячими собаками.

В Петрайо живет Джино Сансоне, корифей макробиотики и художник. Первый этаж его дома, как и многих других, стоит прямо над лестницей, а перед ним растет дерево.

Здесь до сих пор ощущаешь запахи, присущие разным временам года.

Петрайо – длинная рана в холме, неровная, извилистая, колотая. Таков этот воздушный путь Неаполя.

* * *

– Se saglie e se scenne! Se saglie e se scenne! [71]

Этот возглас из детства эхом звучит в моей памяти, с ним связаны вагоны центрального фуникулера – из дерева и стекла, – сегодня они в качестве экспонатов представлены на археологической выставке возле станции на площади Фуга. Мне шесть или семь лет, я укутана в красное пальтишко, на мне туфли, как у всех в то время, – с глазками, напоминающие “фольксваген-жук”. Человек, подталкивающий меня вперед

коленом и повторяющий эту фразу, представитель толпы, которая, кажется, вот-вот меня затопчет. Здесь, вверху, пахнет мокрой псиной, напитавшимися дождем пальто: шерстяная одежда, капли, словно застывшие, мокрые зонты трутся о спину, вагоны покачиваются, словно на волнах, чья-то рука крепко меня держит, я как будто на корабле. Для меня это фуникулер Банка Неаполя: ведь я – дочь банковского служащего, которая верит в то, что это транспортное средство служит лишь для того, чтобы по утрам доставлять на работу отцов – из дома в самое сердце города, к улице Рома, как в семидесятых годах еще называлась улица Толедо.

У меня пробор посередине, на голове – жуткий шерстяной платок, сдавливающий подбородок. Мне не хватает опыта поездок на других фуникулерах – на линиях Кьяйя, Монтесанто и Мерджеллина: на них я прокачусь позже, в гораздо более зрелом возрасте. От соседей пахнет жвачкой, табаком, несвежим дыханием и волосами.

И этот пробор посередине, кошмарные косички, треугольный платок – так выглядят только девчонки у цыган, просящие милостыню по вагонам вместе с мамами. В наши дни девочки в таком возрасте, в каком я носила красное пальтишко, носят цветные плетеные шляпки из рафии, у них хвостики, локоны, коралловые бусинки в волосах. Они одеты в удобные штаны с огромными карманами и путешествуют на руках. Те, что поменьше, сидят в модных прогулочных колясках с большим количеством карманчиков, полочек и поддонов, куда их все еще юные мамочки (а не “синьоры”, какими уже в двадцать лет были мамы в то время) складывают покупки – куколок, лягушек, желтых и розовых червячков на пружинке и кучу других полезных мелочей. Колясок в фуникулере множество, одни выкатывают, другие вкатывают, особенно в определенные часы дня. Финальная часть лестницы при выходе на Вомеро представляет собой некоторое препятствие: если по низким ступенькам вдоль вагонов коляску легко катить, высадив маленького пассажира, то вот на последнем отрезке пути приходится поднимать ее, отрывая от земли.

Мамаши тяжело дышат, помощь им предлагают нечасто. Один старательный отец поясняет: мол, он даже излагал проблему служащим станции, но ему заявили, что строительство пандуса для колясок (а заодно и для инвалидов), при помощи которого можно было бы преодолеть последний участок лестницы, должен взять на себя округ. А пока что и стар и мал – все ковыляют по ней еле-еле. В остальном вагоны фуникулера стали значительно удобнее, чем прежде: низкие, широкие,

просторные. Студенты вместе со своими сумками пристраиваются на ступеньках между сиденьями. Единственная проблема – подвижные ручки, за которые можно держаться пассажирам: они расположены высоко, слишком высоко для среднестатистического южанина.

Как трудно в этом городе! Даже для перемещения по воздушным путям приходится прилагать усилия.

Откровенно говоря, фуникулер Мерджеллины, которым пользуются главным образом домработницы, садящиеся в Позиллипо, – еще менее удобный: очень крутые ступеньки, наклонные сиденья. Зато оттуда местами видно море. На линии Кьяйя спустя годы работ наконец-то завершён ремонт: теперь там блестящий гранитный пол. Кьяйя открылась – и одновременно закрылся Монтесанто.

Мы поднимаемся и опускаемся, как говорил в детстве тот синьор у меня за спиной, в Неаполе – всегда поочередно, по одному или по другому склону холма, выгнутого, как говорится, ослиной спиной.

В вагоне фуникулера почти всегда что-то продают и просят милостыню. У продавца богатый набор “товаров первой необходимости”: цветные губки для сковородок, замшевые тряпочки для моющихся поверхностей, ножницы и ножнички, в том числе маникюрные, пакетики для заморозки, отвертки со сменными насадками, шариковые ручки, платочки, моющие средства, перьевые щетки для автомобилей. Стили их воззваний к пассажирам различны: от бурного натиска, унаследованного от почти исчезнувших ныне торговцев, ходивших от дома к дому и предлагавших картошку и рыбу (“*e ppatane, ‘e ppatane!*” [72]), до монотонного и ортодоксального: “Не хочу беспокоить вас я славный парень лучше торговать чем красть у меня двое сыновей помогите не уронить достоинство я вас не побеспокою предлагаю мелочи которые пригодятся вам в домашнем хозяйстве высокого качества”. Ни запятых, ни точек, ни пауз. Вежливый неуправляемый поток.

Синьоры расстегивают кошельки, а потом выходят на улице Толедо, и желтые и красные губки торчат у них из портфелей. Остальные сидят опустив голову, чтобы не встречаться глазами с торговцами.

С милостыней дело обстоит легче: попрошайка садится у входа на станцию фуникулера и терпеливо ждет. Образок, лампадка, табличка. Центральный фуникулер на входе встречает пассажиров магазинчиками, где продают сувениры, карты, светильники и всякие штучки, а на выходе провожает элегантными барами, внутри, на станциях, – стиль либерти, с

тусклыми светящимися “шарами”, деревянными сиденьями с металлическими завитушками. У линии Монтесанто совсем другие выходы, шумные и полные народу, по вечерам там очень темно; на Мерджеллине тоже пустынно и мрачно, если не принимать в расчет пиццу и море.

На Центральном фуникулере ездят представители различных человеческих племен с улицы Толедо. В семь вечера все они покидают станции: высокие североафриканцы с переносными прилавками, которые складываются подобно огромным деревянным чемоданам, банковские служащие и офисные работники со своими кожаными портфелями, в ослабленных галстуках. В Квартъери-Спаньоли выходят самые молодые – те, что сидят за столиками в ожидании, с развернутой газетой, воркующие парочки и праздные молодые люди, читающие результаты футбольных матчей.

Иногда по вечерам в вагонах поднимающегося наверх состава встречаются и заводят беседу старики. По одежде видно, что они тоже прежде работали в банке, быть может, они просто не могут отказаться от этого маршрута.

– Как дела у вашего сына?

– Ну... он хотел поступить в банк на мое место... Я отсоветовал... Ему уже сорок лет, всю жизнь быть начальником отдела, без какой-либо перспективы сделать карьеру...

Разговор приобретает мрачные тона, речь заходит о бедах Юга.

– Так что, нам всем уезжать отсюда? – с досадой по-неаполитански вопрошает молодой человек с намазанными гелем волосами, в приспущенных джинсах “Дизель”, с черными пальцами.

Старики хрипло возражают. Молодой человек упорно гнет свое. Фуникулер, качнувшись, останавливается. Их дискуссия длилась на протяжении всей поездки. Слишком коротко или слишком долго, чтобы прийти к какому-либо решению. Спорщики покидают вагон, не закончив спора.

Впрочем, нельзя сказать, что Неаполь постоянно куда-то спешит. В его жизни достаточно много пауз, когда время как будто останавливается. Но фуникулер служит как раз для этого: растянуть ожидание, предоставить возможность поразмышлять, соединить между собой в неторопливом ритме разные поколения. Современных банковских служащих, работников Неаполитанского банка, не так легко узнать, как их коллег из прошлого: они менее официальные, менее строгие, с наушником в ухе – эдакая небрежная имитация технократического будущего, изображенного в “Бегущем по лезвию бритвы”.

Когда толпа выходит из вагона, все вокруг превращается в стремительный поток полосатых носков, маек, кашемировых шарфов, обесцвеченных волос, сумок и рюкзачков. Я ищу глазами или скорее ушами самого знаменитого местного попрошайку.

– Хлеееба, хлеееба! – кричит он.

Вот уже несколько лет он не показывается, а прежде обживал фуникулеры, особенно часто промышлял на площади Аугустео, но видеть его можно было и на площади Дель-Джезу, перед Сан-Лоренцо-Маджоре и на площади Данте. С протянутой рукой выпрашивая хлеб, он преследовал свою жертву до площади Триесте-е-Тренто, где сегодня звучат джембе [73] и польские скрипки.

Согласно легенде, бытующей в нашем метро, Хлеба-хлеба не то разбогател, не то всегда был богат и продолжал заниматься своим ремеслом исключительно из жадности, либо болезнь у него просто такая была – просить милостыню, а нынче он на Мальдивах, ну, или, по крайней мере, живет в Марчанизе, в особняке с парком, параболической антенной и автоматическими воротами.

Звук, которым сопровождается выход из вагона, остается с вами надолго: вот я еду вверх, мне семь лет – вот я еду вниз, мне тридцать пять.

Девочка сует мне в руку какую-то листовку, поднимается ветер, и я слышу за спиной свисток: отправляется очередной, зный по счету, фуникулер – последнего не будет никогда.

* * *

Такси отлично подходит в качестве транспортного средства, чтобы изучать воздушные пути Неаполя.

Можно прислониться головой к окну и рассматривать вершины пальм, следить за движением облаков по небу, разглядывать верхние этажи старинных домов, балконы, окна, любоваться панорамой. Такси – это дорога ангелов: оно едет по мостовой, но показывает нам высь, возвышенное, иной раз одновременно демонстрируя комичное и невозможное.

Рассуждения о погоде – лучший способ начать беседу: за долгие годы я столько их наслушалась, от причудливых до предрассудочных, от ругательств до проклятий. Они звучат ровно столько времени, сколько нужно, чтобы преодолеть барьер в общении на протяжении первых нескольких километров. Если пробка и дождь – стало быть, дождь виноват в том, что Неаполь рушится и сточные воды вот-вот хлынут наружу; если на дворе

душное лето – значит, именно из-за жары совершенно невозможно вести машину, а стояние в пробке так выматывает. Количество капель на пальто таксиста или пассажира часто служит началом беседы, завязкой для разговора. В неаполитанском такси болтовня имеет большое значение.

По достижении пункта назначения водитель и пассажир прощаются, желая всего самого лучшего семьям друг друга, всех благ детям, а также надеясь – небезосновательно – снова когда-нибудь совершить совместную поездку.

Несомненно, у неаполитанских таксистов своя философия города, и столь же верно, что они его не очень-то жалуют. Некоторые рассказывают о том, как на них нападали в уединенных и малолюдных районах Неаполя: кражи, грабежи, засады, просто не заплатили – это наиболее благоприятный вариант развития событий.

Один словоохотливый таксист рассказывает мне, как возил матерей задержанных в Поджореале.

– Они всегда везут с собой какие-то свертки со съестным: артишоками, сосисками, курятиной, пармезаном, баклажанами... И машина всем этим пропахивает...

Матери, едущие на свидание с детьми, недавно попавшими под стражу, не только везут с собой огромные запасы продовольствия, но и рассказывают историю задержания: почти всегда сыновья ни в чем не виноваты. Их сбили с толку, обманули. Какой-то синьор, проходя мимо, попросил некоторое время подержать пакет, а потом вошел в дом и исчез там. Тут явилась полиция и захотела посмотреть, что находится в пакете, – оказалось, что наркотики.

– Но мне его оставил тот человек, он поднялся в дом! – протестует невиновый.

И мать плачет.

– Они никогда ни в чем не виноваты...

Сцена повторяется из раза в раз, до тех пор пока однажды таксист не решает предвосхитить слова очередной матери и высказывается:

– Разумеется, синьора, ваш сын не виноват...

На что синьора с холодным презрением заявляет:

– Этот прохиндей? Надеюсь, его надолго посадят... Кусок дерьма! Он у меня деньги воровал!

* * *

котором повествуется о том, как в городе после войны появились такси, в результате чего разорилось большинство неаполитанских извозчиков и их семей. Главный герой, Скуотолоантонио, сын Скуотолорокко, относился к этим холодным и шумным средствам передвижения с некоторым снобизмом, унаследованным от высокородных господ, на которых работало несколько поколений его семьи и которые владели собственным экипажем.

Сегодня, спустя полвека, не лишним будет рассказать о том, как изменилась функция такси в этом городе, где изначально использование машин предусматривалось лишь в случаях крайней необходимости: для срочной доставки в больницу, когда случилась какая-нибудь беда или приходилось ехать в дальние края и везти кучу багажа на станцию.

В общем, такси было роскошью, своего рода компенсацией за утерянный рай. Многие неаполитанцы продолжают и по сей день относиться к нему как к весьма дорогостоящему развлечению.

Однако вот уже несколько лет такси используется также для обыденных, повседневных целей, поскольку, если принимать в расчет бензин, парковку и страховку, за год личный автомобиль обходится значительно дороже.

Но самое “воздушное” из всех приключений, связанных с такси, случилось со мной однажды июньским утром, среди мостов и транспортных развязок. Я вызвала такси, мы едем по объездной дороге – и тут я вдруг с изумлением вижу, что в замке зажигания нет ключа, а мы при этом движемся. Я молчу, охваченная суеверным страхом, по высоченному мосту Оттокали, и при этом у нас каким-то чудом выключено зажигание. Потом у выезда с автострады машина останавливается, и старичок за рулем с досадой бормочет по-неаполитански:

– О, я так и знал, я так и знал!

А я про себя думаю то же самое, хоть и не осмеливаюсь высказать это вслух: я так и знала, так и знала, не может быть, чтоб мы ехали без ключа, мы рискуем попасть в большую беду, улететь с моста...

Старик нервно роется в кармане и вытаскивает связку ключей, один из которых имеет весьма странный вид: он похож на отвертку.

Он вставляет в замок другой ключ, и машина трогается.

Я выхожу на площади Национале, вся дрожу, но не осмеливаюсь спрашивать объяснения, я верю в то, что существует способ, или даже несколько, благодаря которому неаполитанские такси могут ехать сами собой.

Или, может, летать. Кто знает.

Когда-то он был номером сто двадцатым, еще раньше – черным “РТ” – два названия, один и тот же автобус, который, согласно старинному предписанию, идет в Неаполе по маршруту почти туристическому: отъезжает от Позиллипо, из старого города, а конечная у него в нижнем городе – точнее, у Кастель-Нуово. Об этом автобусе у меня сохранились яркие воспоминания: ведь, учитывая длину маршрута, на нем можно было найти себе приятеля и успеть разругаться с ним, а также сочинять истории, вести дневник, встречаться с друзьями – короче, на протяжении всего пути жить особой жизнью. Несколько лет назад сто двадцатый превратился в С27 и маршрут сократили: теперь он ходит от Позиллипо до площади Амедео.

Но некоторые вещи, вне зависимости от перемен в обозначении линии, остались прежними – например бесконечное ожидание, иной раз совершенно безнадежное, когда стоишь на остановке и молишь небеса, чтобы вожденный автобус наконец появился.

Остановка блестит на горизонте, недавно построенная, и эргономичная скамейка тоже новая, и реклама, и информационная стойка. Кажется, будто все это только что с завода, но вот люди, собравшиеся в ожидании автобуса, – всё те же, что и несколько лет назад.

– Двадцать седьмой проходил? – спрашивает запыхавшаяся студентка: за плечами рюкзак, шапка набекрень.

– Я стою тут уже пятьдесят минут, а его все нет, – отвечает пожилая женщина в пальто, плотно облегающем круглый живот, с двумя продуктовыми пакетами в руках – белыми, раздутыми.

– Я пришла еще раньше, чем синьора, – вступает в разговор дама лет пятидесяти, в затемненных очках, в синем ожерелье, такого же цвета туфлях и браслете, даже недавно покрашенные волосы имеют легкий голубоватый оттенок. У нее тоже пакет в руке, но с фирменной надписью и полупустой. Она едет в магазин модной одежды, чтобы обменять товар.

– Его нет уже по крайней мере час.

За этой фразой следует коллективный вздох.

– Иногда он быстро приходит, я его вижу, а он мне не нужен. И мне хочется все равно на него сесть... по крайней мере, он ходит! – бормочет философски мужчина в пальто, довольно преклонного возраста.

Тут неудержимым потоком начинают литься рассказы об опозданиях автобуса за последние годы, общие сетования на жизнь в Неаполе, медленные и хладнокровные проклятия в адрес

транспортной службы, люди с досадой смотрят на выключенное табло информационного стенда, яростно задирают рукава, чтобы глянуть на часы, после чего воцаряется подавленное молчание.

Однако, если погода стоит солнечная, море, которое хорошо видно отсюда, создает на остановке атмосферу расслабленности или даже скуки.

Иногда здесь встречаются двадцатилетние: они говорят то же самое, что говорила я, когда училась в университете:

– Мои однокурсники из провинции приезжают на занятия раньше, чем я отсюда. Они надо мной издеваются: да ладно, мол, ты не в городе живешь...

Это автобус сенегальцев и славян, которые работают в домах богатых. По утрам он показывает своим пассажирам ветреный город спальных районов, сплошь воздушные панорамы.

После заката в салоне C27 загораются голубые огоньки, он напоминает одинокого светлячка, когда едет по корсо Витторио Эммануэле, а тем временем в окнах домов на улице Тассо зажигается свет оранжевого цвета, и холм превращается в гигантский глазастый абажур.

И не важно, что на улице Парко-Маргерита автобус рискует не разъехаться с тем, что следует в противоположном направлении, и застрять. Они касаются друг друга бортами, как две лодки в море. Пассажиры из-за окон – первозданно чистых, это отличительная черта автобусов центра, глядят на их маневры, находясь в нескольких сантиметрах друг от друга, как будто, если вот так с беспокойством смотреть из одного салона в другой, можно уменьшить силу трения. Потом, спустя множество минут, оба автобуса скользят дальше. Каждый в свою сторону под облегченные вздохи пассажиров: на сей раз тоже все обошлось.

И тут настает момент безутешно вздыхать пассажиру C27, приехавшему с холма: ведь если при спуске Неаполь предлагает массу возможностей – лестницы, переулки, окольные пути, парки, – то по дороге в гору ничего не остается. Скрип амортизаторов, причитания, грустные мысли – все это поднимается к ночному небу и витает в воздухе, когда все пассажиры наконец-то заснули в своих квартирах и снится им, что C27 в кои-то веки пришел по расписанию.

* * *

Рынок Поджореале расположен на фоне нехарактерного и нового для Неаполя пейзажа, прежде не существовавшего: возле рынка нет ни моря, ни холма, ни переулка, ни квартала, где

плотно жмутся друг к другу дома. Правда, здесь проходит окружная, но рынок находится на корсо Мальта, а значит, эта часть магистрали, соединяющей противоположные окраины города, здесь оканчивается. Это индустриальная периферия Неаполя, такая же, как и во всех других городах, однако никаких индустриальных объектов тут не видно. Рынок вырос в нежилом, пограничном районе и потому является отчасти символическим местом: улица Караманико, та, что ведет к рынку, – это первый поворот направо после эстакады на автостраде, ведущей в Черколу и Понтичелли. Чтобы добраться туда, нужно проехать мимо тюрьмы предварительного заключения с ее закрытыми воротами и видеокамерами, мимо здания ИНАИЛа [74] с огромной вывеской, которая видна с расстояния нескольких километров, мимо низенькой, недавно построенной серо-коричневой церкви, где устраивают похороны, – рядом с овощным ларьком, открытым, несмотря на выходной день, перед которым толпятся родственники умершего, теряясь среди апельсинов и помидоров. За эстакадой, целиком состоящей из одних только ребер и напоминающей какую-то готическую конструкцию, слева будет кладбище Поджореале, белое, неоклассическое, похожее на гигантскую печатную машинку, где растут жилища дорогих усопших, – когда ночью возвращаешься в Неаполь, они блестят в темноте, словно окна домов живых.

Но с рынка кладбище еще не видно: угадывается лишь длинная улица, которая, извиваясь и образуя клинья, где примостились маленькие церкви XVIII века, рано или поздно приведет в Казорию.

В конце улицы Караманико рынок окружен высокой металлической конструкцией из прутьев – самой настоящей оградой, из тех, что возводятся вокруг школ или частных парков. Огороженный кусочек неба.

На заднем плане виден бизнес-центр. Вокруг рынка толпятся люди, явившиеся за покупками, пройти трудно из-за бесчисленных припаркованных машин, суется наглые парковщики, собирающие с водителей по одному евро, – типичный неаполитанский квартал. А вот находясь внутри рынка, замечаешь голубое небо и высоченные небоскребы вдали, чьи силуэты треугольной формы, современные, концептуальные, с темными зеркальными стеклами, подобны декорациям некоего футуристического рая и служат странным фоном для палаток и вешалок, пальто, джинсов, туфель, пластиковых кругов, на которых выставлены трусики-танга и бюстгалтеры.

В Поджореале хороший рынок: много товара, заманчивые цены, порядок и очень тщательный контроль, к которому в

Неаполе, пожалуй, не привыкли. Действительно, снаружи дежурят представители правоохранительных органов, там стоит полицейский автомобиль, а также будка, в которой нужно получать разрешение на то, чтоб попасть внутрь, поглазеть и пофотографировать. Разрешение выдает любезный лейтенант, как будто сошедший со страниц романа Камилъери, со своим помощником, похожим на норманнского волка, – что-то вроде Эрри де Луки в форме.

Здесь как будто попадаешь в японский комикс, в Неаполь в духе “Бегущего по лезвию бритвы”: открыточное небо, косые зеркала бизнес-центра, ограда, полиция. Даже фургончики, с которых продают кофе с булочками, традиционное явление на Мерджеллине и на площади Муничипио, расставлены в порядке под охраной, перед ними – удобная площадка, где можно остановиться, а сами они бело-голубые, как цирковые шатры, с надписью “Кафе Торальдо”.

Какая-то синьора разговаривает с полицейскими: она хотела бы объявить по громкоговорителю об утере сумочки, в которой, по ее словам, находились лекарства. Она показывает им прижатый к груди кошелек, как бы говоря: я, мол, не дурочка держать в сумочке важные вещи. Полицейский объясняет ей, что громкоговоритель используется лишь в случае, если потерялись дети.

– Но как так? Если я плохо себя чувствую, я разве не могу попытаться найти сумочку?

Полицейский пожимает плечами: мол, таковы правила. Женщина и две ее дочери удаляются, продолжая рассуждать, пока возмущенные звуки их голосов не сливаются с общим гамом.

Между рядами одежды проплывает бело-голубое знамя Мадонны-дель-Арко: не настоящая процессия, а всего двое членов общины, в белом и даже не босые. Они пришли собирать барыши для своей мафии, с Мадонной на знамени. Полиция ни о чем их не спрашивает.

В начале второго, когда рынок уже закрывается, на автобусной остановке на улице Поджореале толпа, состоящая из женщин и детей, ждет автобуса. Все с белыми полиэтиленовыми пакетами, все улыбаются в предвкушении воскресного обеда.

* * *

А под конец, покидая эти огражденные участки неба, эти замкнутые воздушные пространства, нужно подняться на холм Камальдоли, или отправиться на площадку замка Сант-Эльмо,

или в покое настоятеля монастыря Сан-Мартино. Здесь расположен нос города, здесь он дышит.

Я гляжу на Неаполь сверху и надеюсь, всякий раз надеюсь, что рисунок снова сложится воедино и его можно будет прочитать. А тем временем туристы и прохожие, заполняющие открытую галерею обители, играют в одну и ту же игру: пытаются разглядеть, где находится такая-то площадь, такая-то церковь, обнаружить свой дом. Все они ищут линии, маршрут, форму.

В эту точку города не добралась чума, как и в Каподимонте, хранилище красоты – картин, фресок на потолках, статуй.

* * *

Когда эпидемия 1656 года на две трети сократила население города, она убила целое поколение художников, учеников Риберы и Караваджо; одним из немногих выживших был Микко Спадаро, которого настоятель пригласил расписать своды и стены монастыря Сан-Мартино. Ни духовным лицам, ни светским не позволено было за все время эпидемии спускаться в город, и Микко, в числе прочих, оставался наверху и создавал свои произведения. В его фресках остался отпечаток города, увиденного с высоты, как и в его картинах, где Неаполь всегда предстает как единое целое: людные площади, но фигурки крохотные, гораздо важнее небо и перспектива. Массовые сцены, толпа, но ни одного дворянина, священника или богача на первом плане. Впрочем, Микко и сам происходил из народа: его отец был ремесленником, изготавливал мечи, и в семье весьма посмеивались над будущим художником за его склонность к живописи.

Чудом уцелел также Маттиа Прети, во время чумы писавший картины по обету. На него произвели такое глубокое впечатление тела, покойники, телеги, набитые трупами, что он бежал на Мальту и там начал работать так, как никогда прежде: только парящие в небе фигуры, серебряные плащи, луна, ясные летние ночи.

Воздушным городом Неаполь предстает перед нами в каждой церкви, где есть изображение ангела: высокая театральная фигура в Пьета-деи-Туркини на улице Медина, дрожащие и укутанные грозowymi облаками творения Луки Джордано на улице Трибунали и множество других, таящихся в темных церквях и на сумрачных картинах.

В Сан-Мартино, небесном граде, нашем Пекине – столице нашей Поднебесной, в воздушной галерее красуются кареты владык – легкая и изящная, принадлежавшая королеве, и

величественная, грохочущая, которая когда-то возила короля. Все мы, по мере того как подрастали, мерили свой рост относительно их колес, поджидая момента, когда можно будет заглянуть внутрь, по ту сторону выпуклых стекол.

Две кареты без лошадей летят к заливу, словно две короны, мимо садов и террас монастыря, обителей фей, врываются в белоснежные коридоры и библиотеки, в комнаты, по которым гуляет ветер, в сакристию [75] , обшитую деревом, куда мы приходили детьми: в ней такое замечательное эхо, что даже шепот возвращается усиленным многократно, словно глас Божий.

А еще выше, в Кастель-Сант-Эльмо, на площадке, самый высокий и совершенный Неаполь рисует для нас фламандские, вытянутые перспективы, теряясь в вечной зеленоватой сини горизонта.

* * *

Наконец, можно отправиться в Кумы, на север, в пещеру, казалось бы, принадлежащую стихии земли, – однако на самом деле она воздушная. Это пещера Сивиллы, галерея трапезиевидного сечения, лучи света, проникающие внутрь из любого окна или проема, устраивают здесь удивительную игру.

На самом деле Сивилла читала свои туманные пророчества по листьям, а потом сжигала их, возвращая растения воздуху.

На плитах вдоль лесистой дороги, ведущей наверх, к акрополю, к главному храму, высечены стихи Вергилия.

Во времена лица мы в качестве игры переводили их; сегодня в моей памяти осталось лишь несколько фраз, и ветер уносит их к морю, по которому когда-то приплыл сюда Эней. Лишь волны и голубки, воркующие в туфовых ущельях. Акрополь Кум – это царство тишины, место для созерцания и размышления; он встречает мирных путешественников и рассказывает им о том, как каждый камень, если ветер очень долго его обдувает, постепенно становится воздухом.

Из муранского камня, из ветреного вулканического камня сделаны воздушные пути Неаполя.

6 В конце концов

В конце концов выяснилось, – говорит мне Лулу, – в конце концов выяснилось, что эти отношения были ошибкой. Она никогда меня не любила.

Голос Лулу в телефонной трубке журчит стремительно, нервно и кажется незнакомым: ведь она никогда не злится, никогда не бывает столь напряжена и не высказывается столь безоговорочно. Напротив, Лулу полна терпения и дарит его другим, из терпения она сделала культ. Она денно и нощно заботится о приемных родителях и мирится с этим. Мирится с тем, что не работает, хотя у нее есть диплом. Мирится с тем, что живет в Сан-Джорджо. И меня тоже терпит. Она – маленький Будда. Так в чем же дело?

– В конце концов... – повторяет она.

От этого выражения на меня веет чем-то кинематографическим – когда его произносишь, перед глазами как будто плывут титры: “В конце концов... the end [76]”.

Чуть позже мне звонит еще одна подруга, Джулия, на сей раз из северного города, она тоже в приступе редкой откровенности решила сообщить мне, что “конец, балаган закрывается” – этот тип ее больше не любит.

И вдруг я понимаю, что в Неаполе есть концы для большого экрана, конечные станции, на которых с плеч сбрасывают груз, а в других городах, чуть более холодных, чуть более северных, когда что-то заканчивается, ярмарочные балаганы закрываются целиком.

Лулу в большой печали, она рассказывает мне свою историю. Окончания любовных романов всегда носят в какой-то степени эпический характер, а также таят в себе некоторую опасность, потому что могут подвигнуть на то, чтобы снова отправиться в путь.

Я слушаю ее, даю ей советы, утешаю, стараюсь вызвать что-то приятное в ее памяти (кстати, “память” и венчающие земной конец “поминки” – одного корня) и вдруг замечаю, что мыслями нахожусь далеко, в каком-то сумрачном месте, в театре или, может быть, в колодце, где плещется вода, а из темноты меня зовут Женщина-рыба и Банановая синьора.

Женщина-рыба – это не сирена, потому что у нее голова рыбы и тело женщины, и нет никакого раздвоенного хвоста, никакой изящной симметрии, и она молчит – как рыба.

Банановая синьора, напротив, привносит в атмосферу сумятицу, кричит, грохочет, продает: она продавала бананы на

старом рынке на Пиньясекке, а теперь уже слишком стара и удалилась на покой, на балкончик над рынком.

Потом появляются еще Три колонки, пропитанные табаком, – торговли сигаретами, каждая стоит за старым деревянным ящиком (колонкой) с окошком, через которое обычно выливался горшок. Три колонки – превосходный греческий хор, и сейчас они вторят плачущей Лулу.

– Все кончено, кончено, кончено... – причитает Лулу.

И Три колонки тоже:

– Все кончено, кончено, кончено!

Я пытаюсь сказать подруге, что будущее есть всегда, даже вопреки нашей воле, но Лулу печальна и не слушает меня. Она осталась ни с чем, как и северянка Джулия, но разница в том, что Джулия, закрыв один эпизод, тут же откроет новый и станет лишь сетовать на собственную податливость (я сама много лет ею страдаю), а Лулу так и будут преследовать неудачи. Меня приводит в некоторое замешательство то обстоятельство, что, покуда Женщина-рыба танцует свой первобытный танец, Банановая синьора торгует, а Три колонки поют “J’ai deux amours, mon pays est Paris” [77], Лулу плачет, а будущее исчезает в отнюдь не эпическом чреве унитаза, на мой балкон возвращается лето во всем своем блеске и великолепии.

Стоит октябрь, а кажется, будто на дворе август. Море, как со стороны Баньоли, так и возле улицы Караччоло, похоже на отполированное зеркало. Небо ясное. Я могу отключить телефон, выйти на балкон и позагорать. Или же спуститься к консьержу и поболтать с ним.

Я – часть счастливого животного, бездумно растянувшегося на солнце, которому наплевать на смерть и на расставания, на боль и на тяготы. Оно загорает в середине октября – и ему этого достаточно.

Я спрашиваю себя, в каком органе живу. В каком участке тела, в какой частичке жабр, если это рыба, или печени, если это свинья, или кишечника, если это овца, я обитаю? Звонит домофон. Я его игнорирую.

Я нахожусь на животе. Брюхо города обдувается воздухом, город дышит, и мы поднимаемся вверх и опускаемся вниз вместе с ним. Полдень, и Неаполь – по крайней мере, его брюхо – не обременяет себя работой. Он наслаждается жарой.

* * *

Одним словом, Неаполь – это тело древнего животного.

Если живешь в теле города как паразит или как его клетка, с четкими, хоть и забытыми, функциями, то одновременно являешься минералом и растением, жидким и твердым. Ты чувствуешь, что состоишь из воздуха, но также и из крови, и тебе как-то неудобно жить, словно тунцу во чреве кита, как в “Пиноккио”: ты здоров, но ждешь, пока тебя начнут переваривать.

Ты можешь выбраться из этой переделки, отыскав лазейку и спрятавшись там, исчезнув из виду.

А еще, погода вокруг этого зверя – тоже часть его организма. Ведь, согласно некоторым философским системам, мы окружены воздухом, который состоит из бесконечного количества слоев эфира, и они являются частью нашей сущности, вкупе с физическим телом.

И вот, пока Лулу рассказывает мне свою историю, а Три колонки эхом вторят ей, я, маленькое насекомое с антенками, поселившееся в одной из частей физического тела города, разглядываю тонкие оболочки Неаполя – небо, облака, неподвижную и вечную ауру, неизменно голубую.

И внезапно, покуда я продолжаю утешать Лулу, на меня накатывает мистическое и созерцательное настроение.

* * *

Лулу рассказывает мне свою историю снова и снова, как это всегда бывает, когда мы в печали и влюблены, теперь она добралась до отправного пункта:

– В конце концов, если она меня не бросит, я ее брошу.

Лулу, конечно, совсем не о том говорит, но мне хочется ответить ей так: знаю, знаю, мы всегда обещаем покинуть Неаполь и боимся, что он нас покинет. Но я ведь уже сказала: заводя речь о расставании, в действительности мы рассуждаем о продолжении...

Лулу успокоилась. Безнадежная любовь заставляет нас сходить с ума или делает пугающе спокойными, как Астольф на Луне [78]. Я прощаюсь с ней, посылаю ей словесный поцелуй, мы обещаем друг другу в скором времени увидеться. Кажется, Сан-Джорджо и Неаполь совсем рядом, более того, теперь это вообще один город, но, когда речь заходит о встрече, всегда отыскивается тысяча препятствий. Как будто тело города сделано из моря, а не из земли, по нему гуляют высоченные валы и добраться куда-либо можно, лишь проделав изнурительный путь, на котором случаются кораблекрушения, неожиданные штормы: поезда останавливаются, “средство” – неаполитанцы так называют

автобус – не ходит. “Ты нашел средство?” – говорят они. Автобус для них перешел в ранг приспособления, о нем говорят с презрением или, наоборот, осторожно, чтоб не сглазить: вдруг “средство” перестанет ходить, а там начнутся пробки, забастовки, манифестации.

И в результате получается, что Сан-Джорджо очень-очень далеко, и почти любая точка города становится недостижимой, любое перемещение требует огромных затрат энергии, и все мы топчемся на месте, стоя на одной ноге, стараясь удержать равновесие, чтобы не утонуть. Море находится в постоянном волнообразном движении, жители спасаются на плотях.

Я раньше встречусь со своим другом из Рима или съезжу в Больцано по работе, я это знаю. И все же не хочу с этим мириться.

* * *

Точный портрет Неаполя, его тело, состоящее из воздуха, земли, воды и огня, в разрезе – это “Страшный суд” Яна Ван Эйка, хранящийся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

У этого произведения есть поверхность и сердцевина – оболочка из земли и моря и внутренности из огня.

Оболочку, то есть обитаемую поверхность, держит Ангел Смерти, крылатый скелет, символизирующий мрак. Над Ангелом Смерти находится Ангел Жизни, или Ангел Судного дня, с огненным мечом, но небо с его синью отделяет Ангела Смерти от грязи, мрака, трупов, невидимого.

Крылатый скелет, смерть в черном плаще на картине Ван Эйка заставляет вспомнить о кладбище Фонтанелле, о подвале церкви Пургаторио-ад-Арко, о катакомбах и бесчисленных непогребенных телах, которые хранит в себе земля Неаполя и которые иногда снова появляются на поверхности.

Там, где кости скелета торчат из-под кожи, как это бывает у очень тощих людей, разбросаны по всему городу, пересекаются пути земли и воздуха, земля и кости – небо и облака. Над ними всегда стоят церкви или храмы.

Земля, изображенная на картине, сотрясается от движений воскресающих. Возвращающиеся к жизни тела похожи на неаполитанские revenants [79] из трамваев и автобусов – существа, приговоренные к свету и одновременно похороненные в городских коробках общественного транспорта, домов, офисов, запертые внутри собственной суеты, ярости, конфликтов и необходимости зарабатывать на жизнь.

Море у Ван Эйка тоже бурлит от обилия воскресающих,

пугающих и испуганных: оно сине-зеленое, его волны приходят в движение от дуновения легкого ветра мистралья, и оно полно мертвецов – они оживают и плывут. Это – бурное море, над поверхностью которого появляются выловленные рыбы, море из “Свадьбы рыбы-ласточки”, старинной народной песни, в которой женятся рыбы. Вся морская фауна присутствует на свадьбе, но только веселье оканчивается дракой: все друг друга бьют от души, потому что жизнь рыб – лишь отражение беспорядочной, детски самодовольной жизни нашего нищего города, который справляет вечную, пышную, бесполезную и сопровождающуюся дракой свадьбу.

* * *

Итак, поверхность, кожа города, пронизанная путями воздуха и воды, еще не углубившимися в подземные пространства, похожа на тот край земли, в сущности, очень маленький, который занимает одну десятую картины Ван Эйка. Ведь фламандский художник знал, что земной мир не важен, зато потустороннее, иной мир, как Верхний, так и Нижний, имеет гораздо большее значение, чем повседневное существование.

Забавно, что в наше время эта идея полностью изжита в пользу горизонтальных городов, растянутых в ширину, лишенных корней и ветвей.

* * *

Вне времени, вопреки каким бы то ни было существенным переменам Неаполь как город-организм живет и питается мраком и тем, что находится под землей. На картине “Страшный суд” мы видим целую толпу мертвых, грешников, бесов и зверей, и все это бурлит и клокочет, словно сточная канава времен Бурбонов, словно полости в туфе, которые во время каждого дождя заполняются водой, забиваются. Но еще он питается светом и полетом: в самом деле Ван Эйк населил небо ангельскими чинами, святыми, пророками, все они группируются вокруг Святого семейства и Христа в великолепном красном плаще, у ног которого попирает смерть архангел, тоже красный, огненный.

* * *

Небо Неаполя, изменчивый путь воздуха, листает барочные облака, плывущие одно за другим, растекающиеся по пространству. Это театр красок, небесных и лунных переливов, темного кружева грохочущих туч, полных цветной воды – зеленой, желтой, голубой, розовой. Это окно в елисейские поля, содержащаяся в идеальном порядке витрина.

Пути воздуха делают климат в городе целебным, ну или прежде делали: в наше время в городе воняет. И все же приземляешься в Каподикино и говоришь себе: ах какой свежий воздух! В знаменитом магазине сувениров, где выставлены карикатурные копии достопримечательностей города, продается в коробочке воздух Неаполя.

Пути воздуха пролегают над устремленными ввысь памятниками города, которые, как и картина Ван Эйка, открывают нам бирюзу небесных сфер – круглый год, даже зимним утром. Они дарят нам ощущение вечного счастья, заставляют испытывать отвращение к полумгле, скрывающей по утрам небеса северных городов.

А дальше Ван Эйк показывает зрителям ад, собрав на своем полотне наиболее мрачные его атрибуты: чудовищ, ужасные рыбы лица, крылья кошмарных зверей, насекомых, епископов с телом монстров, рогатых ящериц, скользких змей. Именно так в детстве я представляла себе лотки торговцев рыбой на Пиньясекке, в царстве Банановой синьоры и Трех колонок, где из лоханей выплескивалась грязная и вонючая морская вода, а угри высовывались оттуда, словно скользкие змеи, где из своих раковин горестно глядели на меня устрицы и морские гребешки (о, этот опасный осколок раковины в тарелке спагетти, грозящий гибелью прямо в разгар праздничного обеда!), где рыбы таращили на меня глаза, а рядом лежали лангусты и крупные раки с ногами как у скелетов и жуткими усами. Рептилия, пожирающая грешника, чудовище с зубами на брюхе, слепое и прожорливое, медведь с длинным клыком, дьявол в форме дерева, ящерики с глазами без ресниц, а еще жидкости, внутренности, кровь и черви...

* * *

Мне нужно работать, нужно выйти из дома, сделать кое-какие дела.

Но как? Я смотрю в небо и вижу вереницу фигур, поднимающуюся к бирюзовому небу Ван Эйка: святые, епископы, кардиналы, пророки, короли. Эта процессия похожа на толпу

потомственных дворян, современной богатой буржуазии, на шествие многочисленных неаполитанцев, которые пытаются спастись, сбежав с этой земли воскресающих мертвецов.

И действительно, небо на картине населено густо, словно метро в час пик, словно судно на подводных крыльях в феррагосто [80] . Воскресающие тянут руки, они вот-вот ухватят за одежду тех, кто пытается спастись, кто улетает в небо, стремится ввысь и ждет, стоя в очереди, ангельского лифта, который увезет его в безоблачный вертеп, к святым в зеленых, синих и красных плащах.

* * *

Мыслимо ли, чтоб в теле никто не жил? Нет, невозможно. Неаполь – тело со множеством обитателей, он запутался в них, измучен их присутствием. Не случайно Витторио Де Сика снимал свой гротескный фильм “Страшный суд” именно здесь – в изображенном им городе время от времени звучит голос, напоминающий о скором наступлении Судного дня.

* * *

В те редкие моменты, когда пути воздуха открываются, группа грешников-туристов обретает покой и небо озаряется вечным светом, словно никакого шума вовсе никогда не существовало.

Тогда тишина распространяется дальше, по путям земли и воды растекается по городу, и тот распахивается, его тело раскрывается, дышит, ждет.

Путь огня отдыхает.

И только в этот редкий миг тишины и отдыха красота достигает своего апогея и покоряет все вокруг.

Благодарности

В первую очередь я благодарю Дженерозо Пиконе – за то, что подсказал мне идею этой книги, за его благородство, за поддержку, которую он оказывал мне все эти годы, с тех пор как в двадцать лет я заговорила с ним о книге под названием “Записки друзьям”. Мне потребовалось время на то, чтобы отплатить ему сторицей. Эта книга – мой дружеский ответный дар.

Июлу я от души благодарю за чудесные карты перед началом каждой главы, это замечательный подарок.

Некоторые части этой книги представляют собой переработанные отрывки из рассказов и репортажей, написанных мной в 2004–2005 гг. для “Иль Маттино”.

Спасибо этой газете, а также Франческо де Коре за то, что заказали их мне. Франческо, фотокорреспондентам газеты, всем редакторам и сотрудникам, с которыми мы долго обсуждали, вычитывали и оттачивали текст, я выражаю свою сердечную признательность.

Спасибо моему городу.

Антонелла Чиленто

Примечания

1

Пер. Натальи Ставровской.

2

По-итальянски эта рыба называется *соссіо*, что означает также “глина” и “глиняный сосуд”. (Здесь и далее прим. перев.)

3

Иоахим Мюрат – маршал Наполеона и король Неаполитанский в 1808–1815 гг., был женат на Каролине Бонапарт, сестре Наполеона.

4

По-итальянски Неаполь – Наполи (Napoli).

5

Тамморра – народный итальянский инструмент, большой барабан, обтянутый высушенной кожей.

6

Юкио Мисима (1925–1970) – известный японский писатель. Частица “мару” часто добавляется к названиям японских кораблей, в связи с чем некоторые европейцы считают, что так называется корабль по-японски.

7

В Древнем Риме кардами назывались межи и дороги, проложенные с севера на юг, декуманами – с запада на восток.

8

“Рисанаменто” (букв. “оздоровление”) – комплекс мер по изменению и упорядочению архитектурного облика города.

9

Секондилльяно – квартал Неаполя; несколько расположенных там многоэтажных домов за форму называют “парусами”.

10

Фумарола (ит. fumarola, от лат. fumo – “дым”) – трещины и отверстия, располагающиеся в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и служащие источниками горячих газов.

11

Роботы – герои аниме 70-х годов.

12

Палаццо-делла-Реджио – здание региональной джунты, высшего исполнительного органа самоуправления региона.

13

Красный рог в Неаполе – талисман удачи.

14

В переводе с итальянского – “сухая шишка”.

15

Левкофагон (греч., по-итальянски biancomangiare) буквально означает “белая еда”.

16

Сфольятелле – воздушные булочки из слоеного теста с начинкой.

17

Пастьеры – пироги с начинкой из творожного сыра.

18

Ателланы (от лат. Atellana) – жанр древнеримской народной комедии с постоянными типами-масками. В известном смысле предшественник итальянской комедии дель арте.

19

Мазаньелло (аббревиатура от Томмазо Аньелло) – предводитель антииспанского восстания в Неаполе (1647).

20

Меркато означает “рыночная”.

21

Герой “Декамерона” Боккаччо.

22

Популярная детская игра, аналогичная нашей “Море волнуется”.

23

Батталья (от ит. battaglia) – “сражение, битва”.

24

Чиччобелло – итальянская кукла, созданная в середине XX века, изображающая младенца в натуральную величину, играя с которой девочки учатся искусству быть матерью.

25

Ослик – символ Неаполя.

26

Цирк (лат.).

27

Коппелия – прекрасная кукла-автомат из одноименного балета Л. Делиба (1836–1891), либретто которого написано по мотивам повести Гофмана “Песочный человек”.

28

Так в XIX веке называли поездку по Европе, которую традиционно предпринимали обеспеченные европейцы, главным образом англичане.

29

Итальянский политик, мэр Неаполя с 1993 по 2000 г.

30

“Снежинка и Апрельцвет” (Nevina e Fiordaprire) – новелла Гвидо Гоццано (1883–1916), крупнейшего представителя так называемой “сумеречной” поэзии.

31

По-итальянски: – Cachèra? – Fuchèra, fuchèra. (Речь идет о фильме “Тото против четырех”.)

32

Воды (лат.).

33

Кальдарий (от лат. caldaria, caldarium: от calida – “горячая вода”) – одно из помещений древнеримских терм, зал с бассейном горячей воды.

34

Скаландроне (scalandrone) – по-итальянски “трап”.

35

“Возвращение” (греч.).

36

По-итальянски Cento camerelle.

37

Нимфей – святилище, посвященное нимфам.

38

Ла-Маддалена – небольшой архипелаг между Сардинией и Корсикой.

39

Байя-Домиция – курортный городок в 90 км к северу от Неаполя.

40

“Вулканическая смесь фанка, неосоула, расслабляющих ритмов и многое другое” (англ.).

41

Искусство праздности (англ.).

42

Я люблю тебя, Барби (англ.).

43

Сид – герой (англ.).

44

По-испански “портовый клуб”.

45

Игристое вино, итальянское шампанское.

46

Традиционное рождественское блюдо.

47

Корзинки, которые жители свешивают с балкона, чтобы туда им складывали предвыборные листовки.

48

Видимо, от латинского “bibere” – пить.

49

От итальянского “cavo” – впадина.

50

На неаполитанском диалекте – “дожди”.

51

Судоходные компании.

52

По-итальянски “порт”, “пристань” – molo, в неаполитанском диалекте mola – “зуб”.

53

Земля, материя (лат.).

54

Сантьяго-де-Компостела – город в Испании, одна из величайших христианских святынь, где хранятся мощи святого апостола Иакова (Сантьяго). В средневековом искусстве святой Иаков часто изображался в образе путешественника в шляпе, украшенной ракушками.

55

Речь идет об арии из оперы Моцарта “Волшебная флейта”.

56

Санита (от ит. sanità) – здоровье.

57

Современное телевизионное шоу из серии “Мы ищем таланты”.

58

Католический священник, знаменитый в Италии своими проповедями.

59

По-итальянски – fontanella.

60

Монастырский внутренний двор (лат.).

61

В переводе с итальянского – “Золотая миля”.

62

Инсула – в Древнем Риме многоэтажный дом, квартиры и комнаты которого сдавались внаем.

63

Линия электропоездов, соединяющая транспортное сообщение Парижа с пригородным.

64

“Фуникули, фуникула” – знаменитая неаполитанская песня.

65

Кьяттили – жаргонное неаполитанское слово, означает отпрысков богатых семей, прожигателей жизни, бравирующих своим статусом и всячески подчеркивающих его с помощью модной одежды, дорогих машин и ночных клубов.

66

В Италии продаются маленькие рыбные палочки в кляре в качестве легкой закуски.

67

На свету и в воздухе (лат.).

68

Имеются в виду мотоциклы.

69

Итальянская сталелитейная компания, один из филиалов которой находится в Неаполе, в Баньоли.

70

Корсо – широкая улица, проспект.

71

Поднимаемся и опускаемся! Поднимаемся и опускаемся! (неаполит.)

72

Картошка! Картошка! (неаполит.)

73

Джембе – африканский народный барабан.

74

ИНАИЛ (INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) – Национальный институт страхования от

несчастных случаев на работе.

75

Сакристия – ризница в католических храмах.

76

Конец (англ.).

77

У меня две любви, моя родина – Париж (фр.).

78

Астольф – персонаж французского и итальянского эпоса, в частности, “Песни о Роланде”, в которой и говорится о его путешествии на Луну.

79

Привидения (фр.).

80

Феррагосто – период отпусков в Италии.